



ЮКИО
МИСИМА

Золотой Храм

АЗБУКА-КЛАССИКА

Юкио Мисима

Золотой храм

«Азбука-Аттикус»

1956

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-44

Мисима Ю.

Золотой храм / Ю. Мисима — «Азбука-Аттикус», 1956

ISBN 978-5-389-12432-5

Роман знаменитого японского писателя Юкио Мисимы «Золотой Храм» — шедевр, заслуженно признаваемый самым читаемым в мире произведением японской литературы. Он основан на реальном событии: в 1950 г. молодой монах сжег знаменитый Золотой Храм в Киото. Под пером писателя эта история превращается в захватывающую притчу о великой и губительной силе красоты.

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-44

ISBN 978-5-389-12432-5

© Мисима Ю., 1956
© Азбука-Аттикус, 1956

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	20
Глава третья	31
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Юкио Мисима

Золотой Храм

Yukio Mishima

KINKAKUJI

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1956

All rights reserved

© Г. Чхартишвили, перевод, 1993

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

Глава первая

О Золотом Храме еще в раннем детстве рассказывал мне отец.

Родился я на отдаленном мысе, сиротливо уходящем в море к северо-востоку от Майдзуру. Отец был родом из других мест, его семья жила в Сираку, восточном пригороде Майдзуру. Уступив настояниям родных, он принял сан священника и стал настоятелем заолустного прибрежного храма. Здесь он женился, здесь появился на свет его сын – я.

На мысе Нарии не имелось даже школы, и, едва сойдя с колен матери, я был вынужден покинуть отчий дом и поселиться у дяди, брата отца, в Восточном Майдзуру. Там я и стал ходить в гимназию.

Родина моего отца оказалась краем, где круглый год щедро сияло солнце, но в ноябре и декабре по несколько раз в день с небес – какими бы синими и безоблачными они ни были – низвергался холодный осенний дождь. Уж не коварству ли погоды тех мест обязан я своим непостоянным и переменчивым нравом?

Майскими вечерами, вернувшись после уроков в дядин дом, я, бывало, сидел на втором этаже, в комнатке, отведенной мне для занятий, и глядел из окна на окрестные холмы. В лучах закатного солнца их склоны, укрытые молодой листвой, казались мне похожими на расставленные кем-то позолоченные ширмы. Я смотрел на них и представлял себе Золотой Храм.

Мне, конечно, много раз попадались фотографии и картинки в учебниках, на которых был изображен знаменитый храм, но в глубине души я представлял его себе совсем иным – таким, каким описывал его отец. О, он не говорил, что от стен святилища исходит золотое сияние, но, по его убеждению, на всей земле не существовало ничего прекраснее Золотого Храма, и, вслушиваясь в само звучание двух этих слов, замороженно глядя на два заветных иероглифа, я рисовал себе картины, не имевшие ничего общего с жалкими изображениями в учебнике.

Стоило мне увидеть, как ослепительно вспыхивает на солнце гладь дальних заливных полей, и мне уже казалось, что это отсвет невидимого Золотого Храма. Горный перевал, по которому проходит граница нашей префектуры Киото и соседней Фукуи, высился прямо на восток от дядиного дома. Из-за тех гор по утрам восходило солнце. И хотя Киото располагался совсем в иной стороне, каждый раз мне чудилось, что в солнечном нимбе в утреннее небо возносится Золотой Храм.

Храм, оставаясь незримым, виделся мне во всем, и этим он был похож на море: деревня Сираку находилась в полутора ри¹ от побережья, и Майдзурская бухта лежала по ту сторону гор, но близкое присутствие моря ощущалось постоянно – ветер доносил его запахи, в непогоду тысячи чаек прилетали с берега и садились на рисовые поля.

Я был хилым, болезненным ребенком, самым что ни на есть последним во всех мальчишеских играх и забавах. Это да еще мое врожденное заикание отдаляло меня от других детей, развивало замкнутость и любовь к уединению. К тому же все мальчишки знали, что я сын священника, и их любимым развлечением было дразнить меня, изображая, как заикающийся бонза бормочет сутры. На уроках чтения, если в книге действовал персонаж-заика, все его реплики непременно зачитывались вслух – специально для меня.

Неудивительно, что заикание воздвигало стену между мной и окружающим миром. Труднее всего давался мне первый звук слова, он был вроде ключа от той двери, что отделяла меня от остальных людей, и ключ этот вечно застревал в замочной скважине. Все прочие свободно владели своей речью, дверь, соединяющая их внутренний мир с миром внешним, всегда была

¹ Мера длины, равная 3,927 км. (Здесь и далее примеч. перев.)

нараспашку, и вольный ветер гулял туда и обратно, не встречая преград. Мне же это раз и навсегда было заказано, мне достался ключ, изъеденный ржавчиной.

Заика, сражающийся с первым звуком слова, похож на птичку, бьющуюся в отчаянных попытках вырваться на волю из силка – силка собственного «я». В конце концов птичка вырвется, но будет уже поздно. Иногда, правда, мне казалось, что внешний мир согласен ждать, пока я бьюсь и трепещу крылышками, но, когда дверь удавалось открыть, мгновение уже утрачивало свою неповторимую свежесть. Оно увядало, блекло... И мне стало казаться, что иначе и быть не может, – поблекшая, подгнившая реальность в самый раз подходит такому, как я.

Нет ничего странного в том, что в отрочестве меня преследовали соблазнительные и противоречивые грезы о власти, вернее, о двух разных видах власти. То, начитавшись исторических романов, я воображал себя могущественным и жестоким владыкой. Он заикается и поэтому почти всегда молчит, но как же трепещут подданные, живущие в постоянном страхе перед этим молчанием, как робко заглядывают в лицо своему господину, пытаясь угадать, что их ждет – гнев или милость? Мне, государю, ни к чему оправдывать свою беспощадность гладкими и звучными фразами, само мое молчание объяснит и оправдает любую жестокость. С наслаждением воображал я, как одним движением бровей повелеваю предать лютой казни учителей и одноклассников, мучивших меня в гимназии. И еще нравилось мне представлять себя владыкой иного рода – великим художником, повелителем душ, молча созерцающим Вселенную. Так, несмотря на жалкую свою наружность, в глубине души я считал себя богаче и одареннее всех сверстников. Да это, наверное, и естественно – каждый подросток, имеющий физический изъян, мнит себя тайно избранным. Не был исключением и я – я знал, что впереди меня ждет пока неведомая, но великая миссия.

...Мне вспоминается такой случай.

Гимназия находилась в новом, светлом здании, удобно расположившемся на широком пространстве меж плавных холмов.

В один из майских дней к нам в гимназию пришел бывший ученик, а ныне – курсант Майдзурского военно-морского инженерного училища, отпущенный домой на побывку. Мне этот юноша казался молодым богом, до того он был хорош: загорелое лицо, надвинутая на самый нос фуражка, мундир с иголочки. Гимназисты обступили курсанта плотной толпой, а он живописал им тяготы военной жизни. Однако в его устах убогая эта жизнь представляла захватывающей и героической. Вид курсант имел весьма важный и на гимназистов поглядывал снисходительно, свысока. Грудь колесом, затянутая в расшитый мундир, напоминала резную фигуру на носу корабля, рассекающего океанские волны.

Курсант сидел, небрежно развалившись, на каменных ступеньках лестницы, ведущей на плац. Вокруг собралась кучка замороженных слушателей, раскинувшийся на склоне цветник пылал майскими цветами – тюльпанами, душистым горошком, анемонами, маками. Выше, над лестницей, благоухала усыпанная белыми цветами магнолия.

Группа, собравшаяся на ступенях, застыла неподвижно, как изваяние. Я же сидел один, немного в стороне, на скамейке, в почтительном благоговении – перед великолепием майских цветов, гордого мундира и громких, веселых голосов.

Однако молодой бог все чаще поглядывал в мою сторону. Видимо, он счел, что я один не признаю его превосходства, и чувствовал себя слегка уязвленным. Он спросил у восхищенных гимназистов, как меня зовут, и крикнул:

– Эй, Мидзогути!

Я молча смотрел на него. Курсант снисходительно рассмеялся:

– Ну, что молчишь? Или ты глухой?

– Я з-з-з-заика, – передразнил меня один из соучеников, и все остальные зашлись от хохота. Как ослепителен издевательский смех! Звонкий, по-детски жестокий хохот моих одноклассников всегда напоминал мне вспыхивающие на солнце стебли травы.

– Так ты заика? Надо тебе в наше училище поступать – там из тебя эту дурь в два счета выбьют.

И тут ответ выскочил у меня сам собой, помимо моей воли, я даже не заикнулся:

– Нечего мне делать в училище. Я стану монахом.

Все умолкли, а молодой бог, наклонившись, сорвал травинку и сунул ее в рот.

– Понятно. Значит, через год-другой придется тебе молиться за упокой моей души.

В ту пору война на Тихом океане уже началась.

...Внезапно на меня снизошло нечто вроде озарения. Мне представилось, что я стою один перед темным миром с широко распростертыми руками. И что весь этот мир – и его майские цветы, и блестящие мундиры, и мои безжалостные одноклассники – в один прекрасный день сам упадет в мои ладони. Мне открылось, что мир крепко схвачен мною, зажат в моих руках... Откровение не вызвало во мне чувства гордости, слишком уж тягостным было оно для подростка.

Гордость – нечто более легкое, светлое, открытое глазу, искрящееся. Мне хотелось обладать чем-то таким, что давало бы мне право гордиться и было видно каждому. Хотя бы кортиком, висевшим на поясе у него.

Кортик, на который с благоговением взирали гимназисты, действительно был хорош. Поговаривали, правда, что курсанты нередко затачивают своими кортиками карандаши, но до чего же это было лихо – использовать столь гордый символ для дела тривиального и низменного!

А потом мундир курсанта инженерного училища был повешен на выкрашенный в белый цвет забор. Там же оказались брюки, рубашка, нижнее белье... От всей этой одежды, развешанной меж цветов, пахло молодым потом. На сиявшую ослепительно-белым цветом рубашку опустилась пчела. Украшенная золотым галуном фуражка была водружена на одном из прутьев изгороди так же ровно и основательно, как если бы она красовалась на голове своего владельца. А сам курсант отправился на посыпанный песком ринг для сумо² – кто-то из гимназистов предложил ему побороться.

Я смотрел на снятую одежду, и мне казалось, что я вижу перед собой некую увенчанную славой могилу. Обилие майских цветов еще более усиливало это впечатление. Лирическим очарованием веяло от фуражки со сверкающим черным лаком козырьком, от кожаной портупеи и кортика – отделенные от тела своего хозяина, они были не менее совершенны, чем он сам. Мне они казались реликвиями, оставшимися после гибели юного героя.

Оглядевшись по сторонам, я убедился, что поблизости никого нет. Со стороны ринга доносились азартные крики. Тогда я достал из кармана ржавый перочинный ножик, подкрался к забору и сделал на прекрасных черных ножнах кортика несколько уродливых царапин...

Быть может, прочтя эти строки, читатель решит, что я был мальчиком с поэтической натурой. Однако я никогда не писал стихов, даже дневника не вел. Я не испытывал стремления восполнить то, в чем уступал окружающим, какими-либо другими достоинствами, только бы выделиться из толпы. Иными словами, я был слишком высокомерен, чтобы стать человеком искусства. Грезы о владычестве – над людскими судьбами или душами – так и оставались грезами, я палец о палец не ударил, чтобы приступить к их осуществлению.

² Японская национальная борьба.

Никто из людей не в состоянии меня понять – именно это сознание давало мне ощущение исключительности, вот почему во мне и не могло возникнуть желания как-то самовыразиться, сделаться понятным другим. Я верил – мне самой судьбой предназначено не обладать ничем таким, что может быть доступно постороннему взгляду. И одиночество мое росло и разбухало, как откармливаемая на убой свинья.

В моей памяти всплывает один трагический эпизод, случившийся в нашем селении. Кажется бы, он не имел ко мне ни малейшего отношения, однако чувство, что я был им затронут, что я принимал в тех событиях самое непосредственное участие, живо во мне до сих пор.

Столько всякого открылось мне через тот случай – жизнь, страсть, измена, ненависть, любовь и еще многое. Но моя прихотливая память закрывает глаза на то величественное, что несомненно таилось в основе произошедшей трагедии...

Через два дома от дядинога жила красивая девушка. Ее звали Уико. Глаза у нее были большие и ясные-ясные. Держалась она всегда неприступно, – может, оттого, что ее семья считалась в деревне зажиточной. Уико все обожали, просто на руках носили, но чувствовалась в ней какая-то скрытность – трудно было предположить, о чем она думает, оставаясь одна. Ревнивые деревенские сплетницы утверждали, что именно из таких вот получаются бесплодные женщины-ледышки, хотя Уико явно была еще девушкой.

Едва окончив гимназию, Уико добровольно поступила медсестрой в Майдзурский военно-морской госпиталь. Это было не так далеко, и на работу она могла ездить на велосипеде. Выезжать из дому ей приходилось еще затемно, часа за два до того, как просыпались мы, школьники.

Однажды вечером я не мог уснуть, предаваясь мрачным фантазиям о теле Уико, а на исходе ночи выскользнул из своей комнаты, надел гимнастические тапочки и шагнул за дверь, в летние предрассветные сумерки.

В ту ночь я не впервые грезил о ее теле. Мимолетные поначалу мечты преследовали меня все чаще и определенней, и так же определенно стало видеться мне белое и упругое тело Уико, ее благоуханная плоть. Я представлял, как загорятся огнем мои пальцы, коснувшись ее. Представлял пружинящую податливость кожи, аромат цветочной пыльцы.

Я стремительно несясь по тропинке. Камни не замедляли мой бег, темнота не закрывала от меня дороги.

Вот тропинка стала шире, она петляла по окраине маленькой деревеньки. Там росла огромная дзельква. Ствол дерева был мокрым от росы. Я спрятался у его подножия и стал дожидаться, когда появится Уико на своем велосипеде.

Я просто ждал, никаких определенных намерений у меня не было. Несся я сюда со всех ног, но теперь, затаившись в густой тени дзельквы, понятия не имел, что делать дальше. Слишком долго существовал я вне всякой связи с внешним миром; именно этим, видимо, следует объяснить странную иллюзию, что достаточно мне очертя голову кинуться в этот самый внешний мир, и все сразу станет возможным и доступным.

Комары кусали мне ноги. Из деревушки доносились крики петухов. Я вглядывался в сумрак. Вдали над дорожкой маячило что-то смутное и белое. Вначале мне показалось, что это просто рассвет, но то была Уико.

Она ехала на велосипеде, во мраке светилась зажженная фара. Велосипед беззвучно скользил по дорожке. И тут я выскочил ему наперерез из-за ствола дерева – Уико едва успела нажать на тормоз.

Я словно обратился в камень. Мысли и воля застыли во мне. Нет, мой внутренний мир никак не желал соприкасаться с миром внешним – тот, незыблемый, окружая меня со всех сторон, существовал сам по себе. Я выбрался из дядинога дома, надел спортивные тапочки, бежал во весь дух по тропинке, прятался за ствол дзельквы, – оказывается, все эти действия не выходили за пределы моего внутреннего «я». И едва различимые в предрассветном полумраке

контуры крыш, и черные силуэты деревьев, и темные вершины гор, и даже стоявшая передо мной Уико вдруг непонятным и пугающим образом оказались лишенными всякого смысла. Все вокруг, не дожидаясь моего участия, обрело реальность, и эта бессмысленная, неохватная, сумеречная реальность с неведомой мне доселе тяжестью разом обрушилась на меня.

Как всегда, я решил, что только слова могут вызволить меня из нелепого положения. Моя всегдашняя ошибка. Вечно, когда необходимо действовать, я думаю только о словах. А слова срываются с моих губ с таким невероятным трудом, что сил на действие уже не остается. Мне казалось, что ослепительное великолепие действия непременно должно сопровождаться ослепительным великолепием слова.

Я ничего перед собой не видел. Однако, как мне вспоминается, Уико, вначале напуганная моим неожиданным появлением, увидев, что это я, смотрела только на мой рот, на маленькую темную дыру, грязную, как норка полевой мыши; дыра бессмысленно дергалась и дрожала в темноте. И, увидев, что эта дыра лишена силы, способной связать ее с окружающим миром, Уико успокоилась.

– Ты что! – воскликнула она. – Ну и шутки! Заика чертов!

Голос ее был свеж и уверен, как утренний ветер. Тренькнув звонком, Уико поставила ногу на педаль. Объехала меня стороной, словно камень, лежащий посреди тропы. На дорожке в этот час не было ни души, но Уико, уносясь прочь, насмешливо брэнчала и брэнчала своим звонком.

В тот же вечер мать Уико пришла жаловаться на меня дяде. На следующий день дядя, всегда такой тихий и спокойный, жестоко изругал меня. И я проклял Уико и стал желать ей смерти, а несколько месяцев спустя проклятие мое сбылось. С той поры я твердо верю в силу проклятий.

Я желал смерти Уико, ложась вечером спать и просыпаясь утром. Я молился, чтобы она, свидетель моего позора, раз и навсегда исчезла с лица земли. Да если бы вокруг не было свидетелей, стыду не нашлось бы места на земле! Все люди – свидетели. Не было бы людей, не возникло бы и позора. В тот предраассветный час в облике Уико, где-то по ту сторону ее мерцающих холодным блеском глаз, что изучающе смотрели на мои губы, я разглядел весь этот мир других людей – мир, никогда не оставляющий нас одних, подсовывающий соучастников и свидетелей наших преступлений. Надо уничтожить всех других людей. Для того чтобы я мог открыто поднять лицо к солнцу, мир должен рухнуть...

Месяца через два после доноса на меня Уико ушла из госпиталя и вернулась насовсем в родительский дом. По деревне поползли самые разные сплетни. А в конце осени произошла та история.

...Никто из деревенских и не подозревал, что в наших местах скрывается беглый матрос. Однажды в сельскую управу пришли жандармы. Их появление не было такой уж редкостью, и никто не обратил на них особого внимания.

Стоял ясный день, какие часто выпадают в конце октября. Я, как обычно, пришел из гимназии, сделал уроки и уже готовился укладываться спать. Прежде чем погасить лампу, я случайно взглянул на улицу и замер: по ней собачьей сворой бежала толпа людей. Я бросился вниз по лестнице. У дверей дома стоял один из моих одноклассников с круглыми от возбуждения глазами. Он крикнул нам – мне и разбуженным шумом дяде и тете:

– Жандармы схватили Уико! Бежим смотреть!

Сунув ноги в гэта³, я помчался за ним. Ярko светила луна, легкие, прозрачные тени лежали на убранных рисовых полях.

³ Деревянная обувь.

Под деревьями копошились темные фигуры. Уико, одетая в черное платье, сидела прямо на земле. Лицо ее выделялось в темноте белым пятном. Рядом стояли ее родители и несколько жандармов. Один из них сердито кричал, размахивая каким-то узелком. Отец Уико беспомощно вертел головой, то прося прощения у жандармов, то обрушиваясь с упреками на дочь. Мать рыдала, закрыв лицо руками.

Мы наблюдали эту сцену с соседнего участка рисового поля. Зрителей становилось все больше, мы молча стояли, касаясь друг друга плечами, и смотрели. Маленькая, словно выжатая, луна сияла над нашими головами.

Одноклассник шепотом рассказал мне, как было дело.

Жандармы ждали в засаде, когда Уико, прихватив узелок с едой, шла по направлению к соседнему поселку. Еда, вне всякого сомнения, предназначалась для прячущегося дезертира. Оказывается, Уико сошлась с ним, еще работая в госпитале, забеременела и была за это отчислена из медсестер. Жандармы требовали, чтобы Уико отвела их туда, где прячется дезертир, но та упорно молчала и не трогалась с места...

Я неотрывно смотрел на белое лицо Уико. Вид у нее был такой, словно она лишилась рассудка. Лицо, освещенное луной, застыло неподвижной маской.

Никогда еще мне не приходилось видеть выражения такого отречения от всего и вся. Я всегда считал, что мир отторгает мое лицо, но лицо Уико – оно само отринуло весь мир. Лунный свет безжалостно лился на ее лоб, глаза, нос и щеки, но лицо оставалось неподвижным, свет просто как бы стекал по нему. Если бы Уико хоть чуть-чуть дрогнула ресницами или шевельнула губами, мир, который она пыталась отринуть, принял бы это движение за проявление слабости и раздавил бы ее.

Боясь вздохнуть, смотрел я на Уико. Ее лицо не имело ни прошлого, ни будущего, оно замкнулось в молчании. Нечто подобное можно иногда увидеть на срезе только что срубленного дерева. Древесина еще свежа и полна жизни, но рост ее уже оборвался; ее волокна, сокрытые прежде, теперь выставлены под солнце и дождь – каким странным выглядит это прекрасное лицо дерева, подставленное ударам чуждого ему мира. Лицо, явившееся этому миру только для того, чтобы его отринуть...

Никогда еще черты Уико не были так хороши, и мне подумалось: вряд ли я когда-нибудь увижу нечто, столь же прекрасное. Но этот восхитительный миг оказался кратким. Лицо Уико вдруг переменилось.

Она поднялась на ноги. Мне почудилось, что Уико рассмеялась. Я не мог ошибиться – в лунном свете блеснули ее зубы. Больше мне нечего сказать о происшедшей с этим лицом перемене, потому что Уико отвернулась от лунного света и исчезла в густой тени деревьев.

Жаль, что я так и не разглядел толком, как менялся облик девушки в момент, когда она решилась на предательство. Если бы только я это видел, быть может, во мне родилось бы прощение – прощение человека и всех его мерзостей.

Уико указала рукой на гору Кахара.

– Он прячется в храме Конго! – закричал кто-то из жандармов.

И тут во мне возникло шальное, радостное возбуждение, как у ребенка в день праздника. Жандармы разделились на несколько групп и окружили горный храм со всех сторон. Для этого им понадобилась помощь жителей деревни. Снедаемый чувством мстительного любопытства, я присоединился к мальчишкам, которые пошли с первой группой, – ее вела сама Уико. Меня поразило, до чего же твердо ступала она по залитой лунным светом тропе; следом за ней шагали жандармы.

Храм Конго был одной из местных достопримечательностей. Он притулился под горой, минутах в пятнадцати ходьбы от поселка. Славился храм древним деревом, посаженным неко-

гда самым принцем Такаока⁴, а также чудесной трехъярусной пагодой, которую, по преданию, возвел прославленный Дзингоро Хидари⁵. Летом я часто плескался неподалеку отсюда, у водопада под горой.

Глинобитная стена, окружавшая главное здание храма, тянулась вдоль берега ручья. Ее обветшалый гребень порос мискантом, белые стебли которого сияли, подсвеченные луной. Перед воротами пышно цвели камелии.

Мы молча шагали по берегу. Здание храма Конго было над нами. Справа, за бревенчатым мостиком, возвышалась трехъярусная пагода, слева шумела красной осенней листвой роща, а за деревьями начиналась знаменитая лестница из ста пяти ступеней, покрытых мхом. Вытесанные из известняка ступени были скользкими.

Прежде чем шагнуть на мостик, главный жандарм обернулся и взмахом руки велел нам остановиться. По преданию, некогда на этом месте стояли две статуи стражей врат, созданные знаменитыми ваятелями Ункэем и Танкэем. Отсюда начинались владения храма.

Мы замерли, затаив дыхание. Жандарм поманил Уико. Она одна перешла через мостик, и, выждав немного, мы двинулись следом. Нижняя часть лестницы была в тени, но выше ступени ярко освещались луной. Мы все спрятались в зарослях. Красные листья казались черными.

Лестница поднималась к главному зданию храма, влево и наискосок от него шла крытая галерея, ведущая к пристройке, – в таких обычно устраивают ритуальные танцы кагура. Пристройка парила над обрывом и, подобно храму Киёмидзу в Киото, опиралась на бесчисленные деревянные сваи. И сам храм, и пристройка, и бревна свай, омытые бесчисленными дождями и высушенные ветрами, белели во мраке, словно кости скелета. Осенним днем гармония пышной красной листвы и белых храмовых построек была безупречной, но теперь, ночью, высвеченный луной белый скелет храма выглядел чарующе-зловещим.

Дезертир, видимо, прятался где-то там, наверху. Жандармы собирались использовать Уико, чтобы выманить матроса из его убежища.

Мы, свидетели, стараясь не дышать, затаились в тени деревьев. Октябрьская ночь была холодна, но мои щеки пылали огнем.

Уико стала подниматься по ступеням одна. В ее фигуре было что-то безумное и одновременно горделивое... Ослепительно вспыхивал между черными волосами и черным платьем ее белоснежный профиль.

У меня хмельно закружилась голова – до того кристально прекрасной была измена Уико в обрамлении луны, звезд, ночных облаков, пятен серебристого света, парящих над землей храмовых зданий и гор, ошетилившихся острыми верхушками кедров. Уико имела право, так гордо расправив плечи, подниматься одна по этой белой лестнице – ее измена была одной природы со звездами, луной и кедром. Теперь она стала одной из нас и принимала весь этот мир. Уико поднималась по лестнице как представитель нас, остальных людей. И я, задыхаясь от волнения, подумал: «Совершив предательство, она приняла и меня тоже. Теперь она принадлежит и мне».

Каждое событие запечатлевается нашей памятью лишь до определенной черты. Я так и вижу перед собой, как Уико поднимается по ста пяти замшелым ступеням. Подъем ее свершается целую вечность.

Но потом она опять переменилась, вновь стала другим человеком. Поднявшись по лестнице на самый верх, Уико совершила новое предательство – теперь она предала всех нас, остальных, и, главное, меня. Эта новая Уико больше не отрицала окружающий мир, но и не

⁴ *Прииц Такаока* (799–865) – первый японец, совершивший путешествие в Индию и Юго-Восточную Азию.

⁵ *Дзингоро Хидари* (1594–1651) – зодчий и скульптор.

принимала его. Она опустилась до уровня обычной страсти, превратилась просто в женщину, отдавшую всю себя одному-единственному мужчине.

Вот почему все, что произошло дальше, вспоминается мне смутно и размыто, словно изображение на старой литографии... Уико прошла по галерее и крикнула что-то во мрак храма. Оттуда появился мужчина. Уико заговорила с ним, мужчина обернулся к лестнице, выхватил пистолет и стал стрелять. Жандармы из кустов открыли ответный огонь. Уико бросилась к галерее, но мужчина вскинул руку с пистолетом и несколько раз выстрелил ей в спину. Уико упала. Тогда мужчина приставил дуло к виску, и прогремел еще один выстрел...

Сначала жандармы, за ними все остальные бросились вверх по каменным ступенькам к двум трупам, только я не трогался с места, по-прежнему притаившись в тени осенней листвы.

Над моей головой белели перекрещенные опоры храмовой пристройки. Грохот шагов по деревянному настилу галереи долетал до меня, приглушенный расстоянием. Скользящие лучи карманных фонариков сквозь деревянные перила то и дело пробегали по ветвям деревьев.

Я не мог отделаться от ощущения, что все давным-давно уже кончилось, все осталось в далеком прошлом. Людей с их толстокожестью можно пронять, только когда прольется кровь. Но кровь проливается уже после того, как трагедия свершилась. На меня накатила дремота.

Проснувшись, я обнаружил, что остался в роще один, кругом щебетали птицы, стволы деревьев были освещены лучами утреннего солнца. Солнце высвечивало снизу белые кости храмовых построек, и храм казался возрожденным. Гордо и спокойно он парил над покрытой красной листвой долиной.

Я поднялся, дрожа от холода, и стал растирать заочиненное тело. От минувшей ночи ничего во мне не осталось, кроме озноба. Озноб – и больше ничего.

* * *

На следующий год, в весенние каникулы, приехал отец, из-под его рясы выглядывал обычный гражданский китель, в каких все ходили во время войны. Он сказал, что хочет взять меня на несколько дней в Киото. У отца были больные легкие, и я поразился тому, как он сдал. И дядя, и дядина жена пытались отговорить его от этой поездки, но отец был непоколебим. Только потом я понял, что он, зная, как недолго осталось ему жить, хотел представить меня настоятелю Золотого Храма.

Я, конечно, давно мечтал увидеть Храм собственными глазами, но отправляться в путешествие с отцом, который, сколько бы он ни храбрился, был совсем плох, не очень-то хотелось. По мере того как свидание с пока еще неведомым мне Храмом приближалось, я испытывал все больше колебаний и сомнений. Золотой Храм непременно должен был оказаться прекрасен. Я чувствовал, как велика ставка, ставка не на действительную красоту Храма, а на способность моей души вообразить прекрасное.

Все, что могло быть известно подростку моего возраста о Золотом Храме, я, разумеется, знал. В случайно попавшей мне в руки книге по искусству история Храма излагалась следующим образом.

Сёгун Ёсимицу Асикага (1358–1408) получил в дар от рода Сайондзи усадьбу Китаёма и построил на этом земельном участке обширный дворцовый ансамбль. Архитектурный комплекс состоял из построек религиозного назначения: Усыпальницы, Храма Священного Огня, Зала Покаяния, Храма Очищения Водой, а также ряда светских зданий: Главного Дворца, Дома придворных, Зала совещаний, Дворца Небесного Зеркала, Башни Северной Звезды, дворца «Родник», Усадьбы Любования Снегом и прочих сооружений. Самые большие средства были затрачены на строительство Усыпальницы,

которую позднее стали называть Кинкакудзи – «Золотой Храм». Теперь уже невозможно с точностью установить, когда именно возникло это название, однако не ранее междоусобной войны 1467–1477 годов. А в эпоху Буммэй (1469–1487) новое название Усыпальницы уже было широко распространено.

Кинкакудзи – это трехэтажная башенка, стоящая над широким Зеркальным прудом, построена она, видимо, около 1398 года (5-й год эпохи Оэй). Первый и второй ярусы выдержаны в классическом усадебном стиле синдэн-дзукури, здесь применяются ситомидо – двери, поднимающиеся кверху. Третий ярус Золотого Храма представляет собой квадратное помещение со стороной в три кэн⁶, оформленное в строгом соответствии с канонами дзэн-буддизма. В зал ведет деревянная дверь, справа и слева расположены оконца. Четырехскатная крыша здания, покрытая корой кипариса, выдержана в стиле хогё-дзукури и украшена фигурой феникса из позолоченной меди. Монотонность композиции храма нарушает Рыбачий павильон с двускатной крышей, выходящий к самому пруду. В целом Кинкакудзи, с его плавным наклоном крыши и легкой, изысканной структурой деревянных стен, является шедевром гармонии в садовой архитектуре, соединившей элементы усадебного и буддийского зодчества. Золотой Храм дает нам представление о вкусах и характере сёгуна Ёсимицу, приверженца классической придворной архитектуры, и прекрасно передает атмосферу той далекой эпохи.

Согласно завещанию Ёсимицу, после его смерти дворцовый ансамбль Китаяма был передан во владение секте Дзэн и стал называться – храм Рокуондзи. На протяжении веков часть зданий разрушилась, часть разобрали и перенесли на новое место, лишь Золотой Храм каким-то чудом уцелел в первозданном виде...

Словно золотой месяц в черном ночном небе, храм Кинкакудзи символизировал мрачную эпоху, в которую он был построен. В моем воображении Храм и не мог существовать иначе, без черного фона сгустившейся вокруг него тьмы. Стройные, тонкие колонны, подсвеченные нежным сиянием изнутри, тянулись во мраке вверх гордо и спокойно. С какими бы речами ни обращались люди к Храму, он, прекрасный, такой хрупкий, хранил безмолвие – он должен был выстоять перед окружающей его чернотой.

И еще я часто думал о парящем над крышей фениксе, которому столько веков были нипочем и дожди, и злые ветры. Эта таинственная золотистая птица, ни разу не взмахнувшая крылом, ни разу не встретившая криком рассвет, давно забыла о том, что она – птица. Но ошибется тот, кто решит, что феникс навсегда прикован к крыше. Как иные птицы скользят по широкому небу, так эта, расправив сияющие крылья, вершит вечный полет по просторам времени. Встречный поток лет ударяется о крылья феникса и уносится вдаль, прочь. Птице не нужно никуда лететь – достаточно просто вытаращить глаза, расставить пошире крылья, развернуть перья хвоста, покрепче упереться сильными позолоченными ногами, и она уже в полете.

Думая о птице, я сравнивал Золотой Храм с чудесным кораблем, приплывшим ко мне через океан времени. «Легкая, воздушная конструкция», о которой говорилось все в той же книге, тоже вызвала у меня ассоциацию с парусником, а пруд, в котором отражался этот замысловатый трехъярусный корабль, казался мне символом бескрайних морей. Храм приплыл из дальнего края темной, огромной ночи. И плаванью его не было конца. Днем все выглядело, наверное, иначе: корабль бросал якорь и позволял бесчисленным зевакам бродить по

⁶ Кэн – 1,81 м.

своим палубам, но ночью – ночью Храм черпал из сгущающейся тьмы силы для нового плаванья, раздувал, как парус, крышу и отправлялся в путь.

Не будет преувеличением сказать, что первая сложная проблема, с которой мне пришлось столкнуться в жизни, – это проблема прекрасного. Мой отец был простым деревенским священником, не умевшим красиво говорить, и я усвоил от него только одно: «На всем белом свете нет ничего прекраснее Золотого Храма». Так я узнал, что где-то, в неведомом пока мне мире Прекрасное уже существует, – и эта мысль отдавалась в моей душе обидой и беспокойством. Если Прекрасное есть и есть где-то там, далеко отсюда, значит я от него отдален, значит меня туда не пускают?

Золотой Храм не был для меня абстрактным образом. Горы скрывали его от моего взора, но при желании я мог перейти через них и увидеть Храм воочию. Выходит, Прекрасное можно разглядеть, можно даже потрогать руками. Я знал и верил, что где-то там стоит Золотой Храм, неизменный и вечный перед лицом сменяющихся друг друга времен.

Подчас Кинкакудзи казался мне миниатюрной золотой вещицей, которую можно взять в ладони. Иногда же Храм становился огромным и вырастал до самого неба. Никогда бы я не согласился с утверждением, гласящим, будто прекрасное не может быть ни слишком большим, ни слишком маленьким, а должно быть умеренным. Когда летом я видел крошечный цветок, влажный от утренней росы и окруженный сияющим ореолом, я думал: «Он прекрасен, как Золотой Храм». Когда же над горами собирались грозовые тучи – черные и мрачные, но с горящей золотой каймой, – в их мощном величии я тоже видел Храм. И, встретив красивое лицо, я мысленно говорил: «Этот человек прекрасен, как Золотой Храм».

Поездка с отцом получилась невеселой. Железная дорога шла от Майдзуру в Киото, минуя поселки и небольшие городишки, поезд то и дело останавливался на маленьких станциях. Вагон был старым и грязным; когда поезд ехал туннелем, дым от паровоза через окна попадал внутрь, и отец все время надрывался от кашля.

Большинство пассажиров так или иначе были связаны с флотом. Вагон третьего класса был битком набит матросами, унтер-офицерами, рабочими с военных заводов, семьями, ездившими в Майдзуру навестить кого-нибудь из родных.

Я смотрел в окно на пасмурное весеннее небо. Поглядывал на отцовскую ряску, накинутую поверх гражданского кителя, на сверкающие золотыми пуговицами мундиры молодых здоровяков-боцманов. Мне казалось, что я один из них. Вот достигну призывного возраста и тоже стану военным. Только смогу ли я отдаваться службе так же рьяно, как эти розовощекие моряки? Ведь я принадлежу к их миру лишь наполовину. В моей юной уродливой голове шевелились мысли такого рода: мир смерти, принадлежащий отцу, и мир жизни, в котором существуют эти молодые парни, благодаря войне соединены теперь воедино. Может быть, я – связующее звено между жизнью и смертью? Если мне суждено погибнуть на войне, конец все равно один, какую бы дорогу я теперь ни избрал.

Все мое отрочество окрашено в тусклые, сумрачные тона. Я страшился черного мира тьмы, но и белый свет дня был мне чужд.

Слушая беспрестанное покашливание отца, я смотрел в окно, на реку Ходзугава. Вода была тошнотворно синей, словно медный купорос, с которым мы ставили опыты на уроках химии. Каждый раз, выезжая из очередного туннеля, я видел ультрамариновую ленту реки, окруженную скалами, то вдали, то совсем рядом – горы крутили реку, словно на гончарном круге.

Отец застенчиво развернул сверток с завтраком – колобками из белого очищенного риса. – Это не с черного рынка, – громко сказал он, чтобы слышали соседи, – прихожане принесли, так что ешь спокойно, сынок.

Колобки были совсем небольшие, но отец с трудом осилил один из них.

Мне все не верилось, что этот дряхлый, черный от копоти поезд едет в древнюю столицу. Я не мог отделаться от ощущения, что паровоз мчится к станции, название которой Смерть. И дым, что лез в окна вагона каждый раз, когда мы попадали в туннель, казался мне чадом погребального костра...

Когда я оказался перед воротами храма Рокуондзи, сердце мое затрепетало. Еще несколько мгновений – и я увижу чудо, прекраснее которого на свете нет.

Солнце начинало клониться к закату, горы окутала дымка. Вместе с нами в храмовые ворота вошли еще несколько посетителей. Слева высилась звонница, вокруг которой росла сливовая роща, уже отцветавшая, но еще не все лепестки облетели с ветвей.

Отец остановился у дверей главного здания храма – там рос огромный дуб – и попросил служителя провести его к настоятелю. Ему ответили, что у настоятеля сейчас гость и нам придется с полчаса подождать.

– Ну, пойдем пока посмотрим на Золотой Храм, – предложил отец.

Ему, наверное, хотелось похвастаться передо мной своими знакомствами и пройти внутрь, не заплатив за билеты. Но и кассир, и контролер за те десять, а то и пятнадцать лет, что отец здесь не был, давно сменились.

– Вот увидишь, – сказал мне отец с кислой миной, – придем в следующий раз, опять новые будут.

Я почувствовал, что слова «в следующий раз» отец произнес без особой надежды. Однако виду я не подал и с ребяческой беззаботностью (впрочем, по-мальчишески я вел себя только тогда, когда это было мне выгодно) понесся вперед.

И Золотой Храм, о котором я мечтал столько лет, тут же предстал перед моим взором.

Я стоял на одном берегу Зеркального пруда, а на другом, освещенный заходящим солнцем, сиял фасад Храма. Слева виднелась часть Рыбачьего павильона. В глади заросшего водорослями пруда застыла точная копия Храма, и копия показалась мне несравненно совершеннее оригинала. Блики от воды дрожали на загнутых углах крыши каждого из ярусов. Эти пылающие нестерпимым сиянием точки искажали подлинные размеры Храма, как на картинке с нарушенной перспективой.

– Красота, правда? – Костлявая рука отца с болезненно тонкими пальцами легла на мое плечо. – Первый ярус зовется Хосуйин, «Храм Очищения Водой», второй – Тёонхора, «Грот Прибоя», а третий – Кукётё, «Вершина Прекрасного».

Я смотрел на Храм и так и сяк, менял угол зрения, вытягивал шею, но ровным счетом ничего не чувствовал. Обычный трехэтажный домик, почерневший от старости. И феникс напоминал мне обыкновенную ворону, присевшую на крышу передохнуть. Храм вовсе не казался мне прекрасным, скорее, он вызывал ощущение дисгармонии. Неужели, подумал я, прекрасным может быть нечто, настолько лишенное красоты?

Будь я каким-нибудь обычным подростком, скромным и старательным, я, верно, не пал бы так быстро духом, а обвинил бы во всем несовершенство своего видения. Но я так страстно и так долго ждал этой встречи, что ощущение обиды и предательства заглушило все остальные чувства.

Я подумал: а уж не скрывает ли от меня Храм свой прекрасный облик, явившись мне иным, чем он есть на самом деле? Возможно, Прекрасное, дабы защитить себя, должно прятаться, обманывать человеческий взор? Нужно подобраться к Храму поближе, проникнуть за уродливую пелену, скрывающую его от моего взгляда, рассмотреть это чудо во всех деталях, добраться до самой сердцевины Прекрасного. Вполне естественный для меня ход мысли – ведь я верил лишь в ту красоту, которая доступна глазу. Отец подвел меня к Храму и с благоговением поднялся на открытую галерею нижнего яруса. Первое, что мне бросилось в глаза, – макет Золотого Храма под стеклянным колпаком. Вот макет мне понравился. Он гораздо больше походил на Золотой Храм моих фантазий. Да само то, что внутри большого Кинкакудзи нахо-

дится еще один – точно такой же, но только миниатюрный, – навело меня на мысль о бесконечности, о малых мирах, заключенных внутри миров огромных. Я как бы увидел воплощение своей мечты: микроскопический – гораздо меньше этого макета, – но абсолютно прекрасный Золотой Храм; и еще один – бесконечно громадный, охватывающий всю Вселенную.

Но я недолго любовался макетом. Отец повел меня к знаменитой статуе сёгуна Ёсимицу, считающейся национальным сокровищем. Эта деревянная скульптура официально именовалась «Статуя Рокуонъиндэн Митиёси» – такое имя принял Ёсимицу после пострижения в монахи.

Ничего выдающегося я в ней не углядел – нелепый, потускневший от времени истукан. Потом мы с отцом поднялись на второй этаж, в «Грот Прибоя», потолок которого украшала картина «Танцы Небожителей», приписываемая кисти самого Масанобу Кано⁷. Но ни эта картина, ни жалкие остатки позолоты, еще сохранившиеся наверху, в покое «Вершина Прекрасного», ничуть меня не тронули.

Опершись на тонкие перила, я лениво глядел на раскинувшийся внизу пруд. В его глади, освещенной лучами заходящего солнца и оттого похожей на древнее медное зеркало, застыло отражение Храма. Предвечернее небо тоже было там, по ту сторону водорослей и тины. Оно выглядело совсем иначе, чем наше. То небо светилось прозрачным, неземным сиянием; снизу, изнутри, оно поглощало весь мир, и Храм, подобно гигантскому золотому якорю, почерневшему от ржавчины, тонул в этой бездне...

Настоятель храма Досэн-Осё Таяма был давним приятелем моего отца. Целых три года они, тогда еще послушники секты Дзэн, жили бок о бок, деля радости и печали. Потом они поступили в семинарию при храме Сёкокудзи (тоже, между прочим, построенном сёгуном Ёсимицу) и, пройдя все необходимые ступени дзэнского обучения, получили священнический сан. Позднее, в хорошую минуту, святой отец Досэн рассказал мне, как они вдвоем, несмотря на суровость монашеских правил, по ночам перелезали через стену и бежали в город, в публичный дом.

Осмотрев Кинкакудзи, мы с отцом вернулись к главному зданию, и служба провел нас длинным коридором в кабинет настоятеля, выходявший окнами в знаменитую сосновую рощу.

Я, затянутый в свою гимназическую форму, сидел прямо, боясь пошевелиться, отец же расположился как у себя дома. Однако, хоть и вышли они с настоятелем из одной обители, доля им выпала разная. Отец был болен, жалок, с землистым цветом лица, зато преподобный Досэн напоминал румяный персик. На столе святого отца высилась груда посылок, журналов, книг, писем, присланных на адрес столь высокочтимого храма, – настоятель еще даже не успел их распечатать. Вот он взял толстыми пальцами ножницы и ловко раскрыл небольшую бандероль.

– Из Токио, – сказал он. – Конфет прислали. В наши времена таких не достать. В магазины они совсем не поступают – сразу в армию или по учреждениям.

Настоятель угостил нас чаем и какими-то европейскими сладостями – раньше я таких не пробовал. Я все больше чувствовал себя не в своей тарелке, и крошки сыпались на мои черные форменные брюки.

Отец с настоятелем негодовали по поводу того, что военные и гражданские власти почитают только синтоистские храмы, а до буддийских им дела нет; спорили о том, как надо управлять храмом, и о многом другом.

Даже морщины на пухлом лице святого отца были аккуратными, словно чисто промытыми. Щеки круглые, только нос торчал, как сосулька застывшей смолы. Несмотря на добродушное лицо, обритый череп настоятеля придавал его облику суровость: казалось, в этой голой, мощной голове таится какая-то могучая, животная сила.

⁷ Масанобу Кано (1434–1530) – художник, основатель школы Кано.

Отец и Досэн стали вспоминать годы своего послушничества, а я смотрел в окно, на сосну «Парусник». Огромное дерево действительно было похоже на корабль: его ветви низко стелились по земле, лишь с одной стороны вздымаясь вверх, подобно бушприту.

Из-за стены, ограждавшей рощу, доносились голоса, – видимо, группа посетителей направлялась к Золотому Храму. И голоса, и стук шагов словно таяли в вечернем весеннем небе, теряли резкость, доносились сюда как бы через мягкую пелену. Шаги затихали вдали, будто уносимые течением. «Так и человек – пройдет по земле и исчезнет», – подумал я. Взгляд мой не мог оторваться от венчавшего крышу Кинкакудзи феникса – так ярко высвечивали его последние солнечные лучи.

– Я тут хотел попросить тебя о сыне... – услышал я вдруг слова отца и обернулся. В этот самый миг в кабинете, окутанном полумраком, отец препоручал мое будущее преподобному Досэну. – Мне, похоже, недолго осталось... Ты уж позаботься о нем.

Досэн не стал тратить слов на пустые утешения.

– Хорошо, – сказал он. – Я о нем позабочусь.

Больше всего поразило меня то, что после этих слов оба приятеля как ни в чем не бывало принялись вспоминать, что говорили и делали перед смертью разные знаменитые монахи. Один в последний миг воскликнул: «О, до чего же не хочется умирать!» Другой, подобно Гёте, попросил: «Света, побольше света!» Третий перед концом тщательнейшим образом проверял счета и ведомости вверенного ему храма.

Нас с отцом угостили ужином, по древней дзэнской традиции именуемым «якусэки» – «спасительным камнем»⁸, и оставили ночевать в храме. Но перед тем как лечь спать, я упросил отца сходить к Кинкакудзи еще раз, чтобы увидеть Храм в лунном свете.

Отец, возбужденный беседой с настоятелем, очень устал, но стоило мне произнести «Золотой Храм», и он безропотно пошел, опершись рукой на мое плечо и тяжело дыша.

Луна взошла из-за горы Фудо. Освещенный сзади, Золотой Храм высился темным силуэтом, ломаным и причудливым; лишь по фигурным оконцам Вершины Прекрасного скользили лунные блики. Третий ярус Храма просвечивался насквозь, и чудилось, будто там, внутри, и живет этот серебристый, мерцающий свет.

Из густой тени островка Асивара с резким криком взлетела ночная птица. Я чувствовал, как все тяжелее давила мне на плечо отцовская рука. Взглянул на нее – и в лунном свете она показалась мне костлявой пятерней скелета.

* * *

Я вернулся в Ясуока, и вдруг Золотой Храм, так меня разочаровавший при встрече, стал вновь овладевать моей душой, принимая облик все более прекрасный. Взращенный моей фантазией, Храм преодолел испытание реальностью, чтобы сделать мечту еще пленительней.

Я больше не пытался связать поражающие мой взор пейзажи и явления с образом Кинкакудзи. Золотой Храм занял теперь прочное и определенное место в тайниках моей души. Я явственно видел каждую колонну, каждое оконце, скаты крыши, волшебную птицу. В моей памяти мельчайшая деталь отделки находила свое точное место в сложной конструкции Храма; стоило мне вспомнить один штрих, как весь облик Кинкакудзи вставал перед моим взором, – так одна-единственная музыкальная фраза заставляет услышать вновь всю знакомую мелодию.

И я впервые написал в письме отцу: «Вы были правы, говоря, что на земле нет ничего прекраснее Золотого Храма».

Оставив меня у дяди, отец сразу же вернулся в свой приход на заброшенный мыс.

⁸ В древности монахи секты Дзэн должны были поститься по вечерам и, спасаясь от голода и холода, клали на живот нагретый камень.

Словно в ответ на мое письмо, пришла телеграмма от матери. У отца случился сильный приступ кровохарканья, и он скончался.

Глава вторая

Со смертью отца кончается мое отрочество. Но можно ли было назвать это отрочеством – меня самого поражало, насколько лишен я всех обычных человеческих чувств. Нет, «поражало», пожалуй, не то слово: поняв, что даже смерть отца не в состоянии вызвать у меня ни малейшей грусти, я впал в какое-то тупое оцепенение.

Когда я приехал, отец уже лежал в гробу. Ничего удивительного, ведь на то, чтобы добраться до мыса Нариу, у меня ушли целые сутки – сначала пешком до порта Утиура, потом морем. Стояли раскаленные от зноя дни, близился сезон дождей. По обычаю гроб должны были отнести в дальний, пустынный конец мыса и сжечь там, на самом берегу моря; ждали только меня.

Странное это событие – смерть деревенского священника. Есть в нем нечто поразительно обыденное. Ведь настоятель храма – своего рода духовный центр общины, сопровождать прихожан, переступающих черту жизни и смерти, входит в его обязанности, он как бы отвечает за всех умерших. И вот священник сам лежит мертвый в своем храме. И поневоле кажется, что на сей раз он чересчур серьезно отнесся к исполнению долга. Или того хуже, что священник пал жертвой ошибки: учил-учил людей, как надо умирать, решил продемонстрировать им это сам и вот чего-то не рассчитал – взял и действительно покинул сей мир.

Гроб стоял в храме как-то очень значительно, словно действие разыгрывалось по заранее написанному сценарию. Вокруг рыдали скорбящие: молодой послушник, прихожане, моя овдовевшая мать. Когда послушник, запинаясь, стал читать сутры, я не мог отделаться от ощущения, что отец из гроба подсказывает ему слова.

Лицо отца утопало в ранних летних цветах. Они были до того свежими и живыми, что становилось как-то не по себе. Казалось, цветы заглядывают в некий бездонный колодец, ибо мертвое лицо, сохраняя прежнюю оболочку, уходит куда-то вниз, на недостигаемую, безвозвратную глубину. Мертвое лицо недвусмысленно напоминает о том, насколько далека и недоступна материя. Я впервые увидел, как по мановению смерти дух обращается в материю; мне вдруг стало понятнее, отчего так равнодушен и недостижим окружающий меня материальный мир – все эти майские цветы, стулья, карандаши, эта школа, это солнце...

Мать и прихожане смотрели, как я прощаюсь с отцом. Но мой упрямый рассудок отказывался видеть в этой сцене аналогию с миром живущих, заключенную в слове «прощание»: вовсе я не прощался, я просто стоял и глядел на мертвое лицо своего отца.

Труп лежал, а я на него смотрел. В простом наблюдении сознание может и не участвовать, но дело даже не в сознании: меня поразило то, как в самом факте созерцания столь очевидно и жестоко проявляется право смотреть, присущее только живому. Так я, мальчик, никогда не певший во всю глотку, не носившийся с громким криком по улице, учился ощущать переполнявшую меня жизнь.

Всегда робкий и приниженный, на сей раз я стоял, гордо повернув к прихожанам спокойное и ясное лицо, без единой слезинки на глазах. Храм был построен на скале, возвышавшейся над морем. За спинами скорбящих, над простором Японского моря, клубились летние облака.

Послушник стал нараспев читать «Киган», последнюю из погребальных сутр, и я присоединился к нему. В храме было темно. В тусклом свете лампад поблескивали траурные флажки на колоннах, цветочный орнамент на изваяниях в святилище, курительницы и огромные вазы из позолоченной бронзы. То и дело по храму пробегал свежий ветер с моря, раздувая полы моей рясы. И все время, читая сутру, уголком глаза я ощущал нестерпимое сияние, исходящее от плывущих в летнем небе облаков.

Этот яркий свет озарял половину моего лица. Яркий, презрительный свет...

Когда похоронная процессия была уже в нескольких сотнях шагов от места кремации, вдруг хлынул дождь. К счастью, неподалеку оказался дом одного из прихожан, который позволил занести гроб с телом под навес. Однако ливень и не думал кончаться. Пришлось трогаться дальше. Процессия вооружилась зонтами и плащами, гроб прикрыли промасленной бумагой, – в общем, кое-как добрались до назначенного места. То была каменистая полоска берега к юго-востоку от селения, у самого основания мыса. С давних времен деревенские сжигали здесь тела своих усопших – дым отсюда не шел в сторону домов.

Волны в этом месте ярились с особенной силой. Трепещущие и разбухшие, они бились о берег, а по их рваной поверхности хлестали струи дождя – мрачный ливень словно пытался пронзить беспокойное море. Ветер же отшвыривал стену дождя на дикие скалы. Белые камни почернели, заляпанные темной влагой.

Мы вышли на берег через пробитый в скале туннель и прятались от дождя под его сводом, пока рабочие готовили погребальный костер.

Горизонта не было – лишь волны, мокрые черные скалы и струи дождя. Капли колотили по бумаге, прикрывавшей гроб, глянцево поблескивало полированное дерево.

Зажгли костер. Масла на похороны священника не пожалели, и огонь с треском побежал вверх по дровам, не обращая внимания на дождь. Густо повалил дым, и поднялось прозрачное, светлое пламя. Вот ветер отнес круглое облако дыма к скалам, и какое-то время под дождем трепетала лишь стройная пирамида огня.

Потом раздался оглушительный треск – то отлетела крышка гроба.

Я тайком кинул взгляд на мать. Она стояла неподвижно, вцепившись пальцами в четки. Лицо ее как-то странно затвердело и сжалось, – казалось, его можно прикрыть одной ладонью.

* * *

Согласно воле отца я отправился в Киото и стал жить при Золотом Храме. Настоятель принял меня в послушники. Он брал на себя плату за мое обучение и содержание, я же взамен должен был прислуживать ему и убирать территорию храма. Говоря языком мирским, я стал мальчиком-учеником.

Оказавшись в храме, я увидел, что там остались только старики да совсем зеленые юнцы – строгого отца надзирателя, ведавшего монашеским общежитием, забрали на воинскую службу. Здесь, на новом месте, мне многое нравилось. По крайней мере, я избавился от насмешек гимназистов – в храме все послушники были такими же сыновьями бонз, как и я... Теперь от окружающих меня отличало только мое заикание да, пожалуй, еще уродливая наружность.

Оставив гимназию, я, по рекомендации отца Досэна, был принят в школу при буддийской академии Риндзай; до начала осенних занятий оставался почти целый месяц. Заранее было известно, что всех учащихся мобилизуют работать на военные заводы. Но пока у меня оставалось еще несколько недель летних каникул, чтобы освоиться в новой среде. Каникулы в конце войны... Неестественно тихие каникулы сорок четвертого года. Жизнь послушников Храма шла по строго установленному распорядку, но мне те летние дни вспоминаются как последний настоящий отдых в моей жизни. Я и сейчас ясно слышу стрекот летних цикад...

Когда после нескольких месяцев разлуки я вновь увидел Золотой Храм, он стоял, мирный и спокойный, в свете августовского дня. Воздух словно лип к моей только что обритой голове, и меня не оставляло странное, будоражащее чувство, будто мысли, что возникают в моем мозгу, соприкасаются с предметами и явлениями окружающего мира, отделенные от них лишь тонкой и чувствительной пленкой кожи. И когда я, подняв кверху лицо, смотрел на Золотой Храм, он проникал в меня не только через глаза, но и через кожу головы. Точно так же впитывала моя голова жар дневного солнца и прохладу вечернего ветерка.

«Теперь я буду жить рядом с тобой, – шептал я, застывая посреди двора с метлой в руках. – Полюби меня, Золотой Храм, пусть не сразу. Открой мне свою тайну. Я уже почти вижу твою красоту, но все же пока она еще сокрыта от меня. Пусть подлинный Храм явится мне еще прекрасней, чем тот, что живет в моей душе. И еще, Храм, если и вправду на всем белом свете нет тебя прекрасней, скажи мне, почему ты так прекрасен, почему необходимо тебе быть столь прекрасным?»

В то роковое лето Золотой Храм сиял все ослепительней, словно питался мрачными известиями с фронтов. Еще в июне американцы высадились на острове Сайпан, а армии союзников рвались вперед по полям Нормандии. Количество посетителей резко сократилось, и храм Кинкакудзи, казалось, наслаждался уединением и покоем.

Война и смута, горы трупов и реки крови – все это и должно было питать красоту Храма. Ибо он сам был порождением смуты, и возводили его суровые и мрачные люди, служившие сёгуну. Сумбурная композиция здания, с ее очевидным любому искусствоведа нелепым смешением стилей, сама по себе была призвана в кристаллизованной форме передать царившие в мире хаос и смятение. Будь Кинкакудзи построен в едином архитектурном стиле, он дисгармонировал бы с царившей вокруг смутой и давно бы рухнул...

То и дело метла замирала в моих руках, и я зачарованно глядел на Золотой Храм – мне все не верилось, что он передо мной. В ту ночь, когда я был тут вдвоем с отцом, Храм не произвел на меня подобного впечатления; теперь же я смотрел – и не мог представить: неужели все долгие месяцы и годы, что мне предстоит провести здесь, Храм всегда будет перед моим взором?

Когда я жил в Майдзуру, мне вовсе не казалось странным, что где-то там, в Киото, существует Кинкакудзи; но стоило мне поселиться рядом с Храмом, и он стал появляться, лишь когда я смотрел на него, а по ночам, которые я проводил в главном здании, Храм исчезал. Поэтому я несчетное количество раз на дню ходил смотреть на Кинкакудзи, чем немало веселил остальных послушников. Но сколько ни глядел я на Храм, привыкнуть к тому, что он рядом, не мог; на обратном пути мне все казалось – вот оглянусь я сейчас, а Храм, подобно Эвридике, сгинул навсегда.

Утреннее солнце припекало все сильнее. Покончив с подметанием двора, я по узкой тропинке стал карабкаться в гору, к храму Юкатэй. Он в этот ранний час был еще закрыт, и по дороге мне не встретилось ни души. Над Кинкакудзи с ужасающим ревом довольно низко пронеслась эскадрилья истребителей – наверное, с Майдзурской военно-воздушной базы.

За горой находился уединенный, заросший пруд Ясутамидзава. Посредине пруда был островок, на котором стояла каменная пятиярусная пагода, именуемая Сирахэбидзука – «Холм Белой Змеи». По утрам лес звенел здесь от щебетания птиц, хотя самих птиц никогда не было видно.

Берег пруда порос густой, высокой травой, этот зеленый луг был огорожен невысоким заборчиком. И там, на траве, лежал подросток в белой рубашке. Его бамбуковые грабли были небрежно прислонены к стволу росшего неподалеку клена. Подросток резко дернулся и словно прорвал этим своим движением мягкий, тягучий воздух летнего утра, но, увидев, что это всего лишь я, успокоился.

– А, это ты.

Мальчика звали Цурукава, мы познакомились с ним накануне вечером. Его отец служил настоятелем одного богатого храма, расположенного неподалеку от Токио. Семья платила за обучение Цурукавы, высылала ему вдоволь и продуктов, и денег на карманные расходы, а здесь, в храме Рокуондзи, он просто жил при нашем настоятеле, дабы испытать послушнического жития. На летние каникулы Цурукава уезжал к родителям, но на этот раз вернулся в Киото раньше обычного. Говорил он чисто и правильно, как настоящий токиец, и его легкая, жизне-

радостная болтовня еще накануне совсем меня подавила. Осенью мы должны были пойти в один и тот же класс.

«А, это ты», – небрежно кинул мне Цурукава, и я сразу лишился дара речи. Он же, видимо, решил, что я молчаливо осуждаю его за лень.

– Да ладно, – улыбнулся он. – Не стоит слишком усердствовать с уборкой. Все равно придут посетители, снова натопчут. Да и мало их нынче, посетителей-то.

Я тихонько рассмеялся. Этот смешок, вырывающийся у меня иногда совершенно непроизвольно, имеет, как я заметил, свойство располагать ко мне людей. Неужели даже впечатление, производимое мною на других, никак не зависит от моей воли?

Я перелез через изгородь и сел рядом с Цурукавой. Руки его были закинута за голову, и я заметил, что, хотя внешняя их сторона загорела на солнце, внутренняя оставалась совсем белой – под кожей голубели вены. По траве были разбросаны светло-зеленые пятна солнечного света, просеянного сквозь листву деревьев. Инстинктивно я почувствовал, что этот мальчик не может любить Золотой Храм так, как люблю его я. Ведь мое преклонение перед Храмом зиждется лишь на осознании своего уродства.

– Я слышал, у тебя отец умер.

Я кивнул.

Цурукава поспешно отвел глаза и, даже не пытаясь скрыть мальчишеского любопытства, сказал:

– Я знаю, почему ты так любишь Золотой Храм. Глядя на него, ты вспоминаешь отца, верно? Он, наверное, очень почитал Кинкакудзи. Так или нет?

Я испытывал удовлетворение, чувствуя, что ни один мускул не дрогнул на моем бесстрастном лице от предположения Цурукавы, верного не более чем наполовину. Судя по всему, этот подросток имел склонность коллекционировать людские эмоции, как другие мальчишки собирают жуков или бабочек. Тщательно собранные и отсортированные эмоции хранились в голове Цурукавы, каждая на своем месте, в отведенных им аккуратных ячейках, и иногда он, видимо, любил доставать свои сокровища и оценивать их практическую стоимость.

– Ты, наверное, сильно убивался, когда отец умер. Вот почему у тебя вид такой нелюдимый – я сразу понял, как только увидел тебя в первый раз.

Прогнозы Цурукавы ни в коей степени меня не задели, наоборот, услышав о том, что у меня нелюдимый вид, я даже почувствовал себя увереннее и свободнее, и слова легко слетели с моих губ:

– Ничего я не убивался.

Цурукава уставился на меня, хлопая длинными – как они только смотреть ему не мешали – ресницами.

– Так ты... Так ты ненавидел своего отца? Во всяком случае, не любил, да?

– И вовсе нет.

– Почему же ты по нему тогда не горевал?

– Не горевал, и все.

– Не понимаю...

Столкнувшись со столь сложной проблемой, Цурукава даже приподнялся с травы.

– Значит, в твоей жизни стряслось что-нибудь еще более ужасное.

– Не знаю. Может быть, – ответил я и подумал: отчего мне так нравится заронять сомнение в душу другого? Для меня все было совершенно очевидно: мои чувства тоже страдают заиканием, они всегда запаздывают. Поэтому событие – смерть отца и чувство – скорбь существуют для меня отдельно и независимо друг от друга. Небольшой сдвиг во времени, незначительная задержка нарушают во мне связь между явлением и эмоцией, и это несоответствие является для меня наиболее естественным состоянием. Если я скорблю, то скорбь моя не

вызвана каким-либо конкретным поводом, она приходит ко мне самопроизвольно и беспричинно...

Я не смог всего этого объяснить своему новому приятелю. И в конце концов Цурукава засмеялся:

– Чудной ты парень, ей-богу.

Его живот под белой рубашкой сотрясался от смеха. Глядя на солнечные пятна, движущиеся по этой рубашке, я вдруг почувствовал себя счастливым. Жизнь моя так же измята и морщиниста, как эта белая ткань. Но ткань сияет на солнце, несмотря на морщины! Может быть, и я?..

Жизнь в храме секты Дзэн шла согласно давно установленным канонам, обособленно от внешнего мира. Летом послушники должны были вставать не позже пяти утра. Подъем назывался «открытие закона». Едва проснувшись, мы приступали к «утреннему уроку» – чтению сутр. Эта служба называлась «тройной», сутры полагалось читать трижды. Потом мы занимались уборкой главного здания храма, протирали тряпками полы. Затем следовал завтрак – «утренняя каша», – перед которым тоже предписывалось прочесть особую сутру. После еды мы подстригали газоны, убирали двор храма, кололи дрова и выполняли всякие прочие «наказы». Когда же начнется учебный год, я в это время буду в школе. После учебы – «спасительный камень», а потом изучение священных текстов с отцом настоятелем. В девять часов вечера – «открытие подушки», то есть отбой.

Так проходили мои дни, и каждое утро я пробуждался от сна под звон колокольчика, в который звонил отец эконома.

При Золотом Храме, точнее, при храме Рокуондзи должно было состоять около дюжины служителей, но после мобилизации в армию и на трудовой фронт их ряды поредели. Кроме семидесятилетнего экскурсовода (он же кассир и контролер), шестидесятилетней кухарки, отца эконома с помощником и трех юных послушников, в храме никого не осталось. Старики еле ноги передвигали, а мы, послушники, были, по сути дела, еще детьми. Отец эконом занимался всеми хозяйственными и денежными вопросами и едва управлялся с возложенными на него обязанностями.

Через несколько дней после моего появления в храме мне было поручено носить газеты в кабинет настоятеля (нам полагалось называть его Учитель). Почту приносили, когда мы уже заканчивали «утренний урок» и уборку. Нелегко было горстке подростков содержать в чистоте полы в здании, где одних только комнат и залов насчитывалось не менее тридцати. Я брал в передней газеты, шел коридором сначала мимо Зала Посланцев, потом в обход Зала Гостей проходил по галерее в Большую библиотеку, где находился кабинет настоятеля. Коридоры мы мыли, окатывая пол целыми ведрами воды, поэтому, когда я нес газеты отцу Досэну, повсюду еще стояли лужи, вспыхивавшие в лучах утреннего солнца, и мои ноги промокали до самых щиколоток. Летом это было даже приятно. Я опускался на колени перед входом в кабинет Учителя и подавал голос:

– Разрешите войти?

– Угу, – хмыкал в ответ святой отец, и тут я должен был, прежде чем вступить в кабинет, быстро вытереть мокрые ноги полой своей рясы – этому научили меня мои более опытные товарищи. Спеша по длинным коридорам, я украдкой проглядывал заголовки газетных полос, пахнувших свежей типографской краской и внешним миром. Так мне попалась на глаза статья, озаглавленная: «Будут ли бомбить императорскую столицу?»

До сих пор, как это ни странно, мне ни разу не приходило в голову, что Золотой Храм может подвергнуться бомбежке. С падением Сайпана налеты вражеских самолетов на Японию стали неизбежны, и власти уже начали спешно эвакуировать часть населения Киото, однако в

моем сознании почти вечный Храм и огненный вихрь бомбежек никак не связывались воедино. Я был уверен, что стоит нетленному Храму и прозаическому пламени встретиться, как они тут же поймут, сколь различна их природа, и вернуться каждый в свое измерение...

Так неужели Кинкакудзи может погибнуть в огне? Если события будут развиваться в том же духе и дальше, ответил я себе, *Храм неизбежно обратится в пепел.*

С возникновением этой уверенности трагическая красота Золотого Храма стала в моих глазах еще неотразимей.

Помню последний день того лета, назавтра должны были начаться занятия в школе. Отец настоятель, прихватив с собой помощника эконома, отправился на какую-то поминальную службу. Цурукава позвал меня в кино, но мне что-то не хотелось, и он тогда тоже передумал – это было очень на него похоже.

У нас имелось несколько часов свободного времени, и мы, надев защитного цвета штаны, ботинки с обмотками и школьные форменные фуражки, отправились на прогулку. На территории храма не было ни души, солнце палило нещадно.

– Куда пойдем? – спросил Цурукава.

Я ответил, что прежде всего хочу взглянуть на Золотой Храм, – сегодня последний раз мы имеем возможность увидеть его в это время дня, да и вообще скоро нас ушлют отбывать трудовую повинность, и, может статься, Храм в наше отсутствие разбомбят. Пока я, страшно заикаясь, бормотал свои невразумительные объяснения, Цурукава разглядывал меня удивленно и нетерпеливо.

Когда я наконец замолчал, по моему лицу градом лил пот, словно я признался в чем-то постыдном. Цурукава был единственным, кому я сам открыл свою страстную привязанность к Храму. Но в лице моего товарища не читалось ничего, кроме обычной досады, испытываемой человеком, когда он пытается разобраться в бессвязном лепете заики.

Меня всегда окружали такие лица. Я мог открывать человеку величайшую тайну, делиться с ним восторгом, который рождает в моей душе Прекрасное, выворачивать всю свою душу наизнанку, а на меня глядело все то же самое лицо. Обычно один человек не смотрит с таким выражением на другого. В этом лице с предельной достоверностью копируется та смехотворная натуга, с которой выходят из меня слова; по сути дела, это мое собственное отражение в зеркале. Каким бы красавцем ни был мой собеседник, в такую минуту его лицо делается столь же безобразным, как мое. И стоит мне увидеть перед собой эту знакомую маску, как сразу все то важное, что я стремлюсь выразить, превращается в никому не нужный мусор...

Пространство, отделявшее меня от Цурукавы, было залито солнцем. Мой приятель ждал, пока я закончу говорить, его юная кожа блестела от жира, каждая ресничка пылала золотым огнем, ноздри раздувались, вдыхая знойный воздух.

Я замолчал. И тут же в душе всколыхнулась ярость. За все время нашего знакомства Цурукава ни разу не посмеялся над моим заиканием.

– Почему?... – потребовал я у него ответа. Ведь я уже говорил, что насмешки и презрение нравятся мне куда больше, чем сочувствие.

Лицо Цурукавы озарилось невыразимо-нежной улыбкой. И он сказал:

– Знаешь, я не из тех, кто обращает на такие вещи внимание.

Я был сражен. Мне, выросшему в окружении грубых деревенских мальчишек, была неведомая подобная душевная чуткость. Доброта Цурукавы открыла мне, что, даже лишенный заикания, я все равно останусь самим собой. Я ощутил себя обнаженным, беззащитным, и неизъяснимое наслаждение переполнило мою душу. Длинные ресницы, обрамлявшие глаза моего приятеля, отфильтровывали заикание и принимали меня таким, каков я был. А ведь до сих пор мной владело странное убеждение, будто человек, игнорирующий мое заикание, тем самым отвергает все мое существо.

Я испытал чувство гармонии и счастья. Разве удивительно, что я надолго запомнил Золотой Храм таким, каким видел его в тот день? Мы прошли мимо дремлющего на своем посту старика-контролера и торопливо зашагали вдоль ограды, по безлюдной дорожке, к Храму.

...Я помню, все помню до мельчайших деталей. На берегу Зеркального пруда плечом к плечу стояли два подростка в белых рубашках. А прямо перед ними высился Кинкакудзи, и не было между мальчиками и Храмом никакой преграды.

Последнее лето, последние каникулы, самый последний день... Наша юность стояла на роковом пороге. И Золотой Храм, как и мы, был на том же пороге, поэтому он смотрел нам в глаза и говорил с нами. Ожидание грядущих бомбежек сблизило его с людьми.

Приглушенное сияние позднего лета заливало золотом крышу Вершины Прекрасного, свет падал вниз отвесными лучами, наполняя покои Храма ночным мраком. Прежде нетленность вечного сооружения подавляла и отбрасывала меня, теперь же мы сравнялись, ибо нас ждала одна участь – сгореть в пламени зажигательных бомб. И кто знает, возможно, Храму суждено было погибнуть еще раньше, чем мне. Выходило, что Кинкакудзи жил со мной одной жизнью.

Нас окружали поросшие красными соснами горы, чьи склоны звенели от стрекота цикад. Казалось, будто бесчисленные толпы монахов гнусавят «Молитву о преодолении напастей»: «Гя-гя. Гякий-гяки. Ун-нун. Сифура-сифура. Харасифура-харасифура...»

Скоро это чудо красоты обратится в пепел, подумал я. И тогда образ Храма, живший в моем сердце, наложился на реальный Храм, подобно тому как копия картины, сделанная на прозрачном шелке, накладывается на оригинал. Совпали все черты, все детали: и крыша, и плывущий над озером Рыбачий павильон, и перилы Грота Прибоя, и полукруглые оконца Вершины Прекрасного. Золотой Храм перестал быть неподвижной архитектурной конструкцией, он превратился в своего рода символ – символ эфемерности реального мира. И тем самым настоящий Храм стал не менее прекрасен, чем Храм, живший в моей душе.

Завтра с неба может пасть огонь и обратить эти стройные колонны, эти грациозные изгибы крыши в прах, и я никогда больше их не увижу. Но пока Храм, незыблемый и спокойный, стоял передо мной во всей своей красе, пылая в солнечных лучах, словно в языках пламени.

Над горами плыли величественные облака – точно такие же видел я краешком глаза над морем, когда отпевали отца. Наполненные угрюмым сиянием, они взирали свысока на затейливое сооружение. В лучах безжалостного этого света Золотой Храм выглядел строже; тая внутри мрак и холод, он словно отвергал своим загадочным силуэтом блеск и сверкание окружающего мира. А парящий над крышей феникс крепче вцепился острыми когтями в пьедестал, твердо решив устоять перед натиском солнца.

Цурукаве прискучило ждать, пока я вдоволь насмотрюсь на Кинкакудзи, он подобрал с земли камешек и, ловко, словно бейсбольный питчер, размахнувшись, кинул его в воду – точно в центр отраженного в пруду Храма.

По заросшей тиной глади побежали бесчисленные круги, и прекрасное, причудливое здание рассыпалось на мелкие кусочки.

С того дня до окончания войны прошел год; за это время я еще больше сблизился с Золотым Храмом, не находя себе места от страха за него и все одержимее влюбляясь в его красоту. То было время, когда мне удалось опустить Храм с недостижимой высоты до моего уровня, и, веря в это, я мог любить его безо всякой горечи и страха. Тогда Кинкакудзи еще не околдовал меня своими злыми чарами, не напоил своим ядом.

Мне придавало сил сознание, что мы с ним подвергаемся одной общей опасности. Я нашел посредника, способного связать меня с Храмом. Теперь между мной и Прекрасным, доселе отвергавшим и игнорировавшим мое существование, протянулся мост.

Я буквально пьянел от одной мысли, что единый пламень может уничтожить нас обоих. Общность ниспосланного на нас проклятия, общность трагической, огненной судьбы давала мне возможность жить с Храмом в одном измерении. Пусть мое тело уродливо и хрупко, но оно из того же воспламененного углерода, что и твердая плоть Золотого Храма. Иногда мне даже казалось, что я смог бы бежать отсюда, унося Храм в себе, спрятав его в собственном теле, – так бегущий от преследователей вор глотает украденный им драгоценный камень.

Весь тот год я не учил сутр, не читал книг – изо дня в день, с раннего утра до позднего вечера, мы должны были закалять дух и тело, занимаясь военной подготовкой, работая на заводе, помогая эвакуировать город. Мечтательность натуры, присущая мне с детства, усилилась еще больше – ведь благодаря войне обычная человеческая жизнь отодвинулась от меня так далеко. Для нас, подростков, война была чем-то фантастическим, пугающим, абсолютно лишенным реальности и смысла, словно жизнь в некоем закрытом от всего мира изоляторе.

Когда в ноябре сорок четвертого американские Б-29 начали бомбить Токио, мы в Киото тоже со дня на день ожидали налета. Это стало моей тайной мечтой – увидеть, как полыхает весь город, охваченный пожаром. Киото слишком долго хранил в неприкосновенности древние свои сокровища, все эти бесчисленные храмы и святилища забыли об огне и пепле, некогда являвшихся частью их бытия. Вспоминая, как мятеж Онин⁹ сровнял город с землей, я думал: зря Киото столько веков избегал пожаров войны, тем самым он утратил долю своей неповторимой красоты.

Быть может, Кинкакудзи сгорит дотла уже завтра. Исчезнет навсегда этот гордый силуэт, заполняющий собой весь мир... И тогда замершая над Храмом птица, подобно истинному фениксу, возродится в пламени и взметнется в небеса. Сам же Храм, навек избавившись от тенет формы, легко снимется с якоря и будет, окутанный призрачным сиянием, невесомо скользить по глади прудов и черным просторам морей...

Как ждал я этого часа – но Киото так ни разу и не бомбили. В марте сорок пятого мы узнали, что выгорел весь центр Токио, но беда была где-то там, далеко, а над Киото голубело прозрачное весеннее небо.

Борясь с отчаянием, я все ждал и ждал, пытался убедить себя, что в этом ясном небе таятся огонь и разрушение; их просто не видно, как не видно предметов, находящихся за зеркальным стеклом. Я уже говорил прежде, что мне мало свойственны тривиальные человеческие чувства. На меня почти никакого впечатления не произвели ни смерть отца, ни та нищета, в которую впала моя мать. Я был всецело поглощен мечтами о гигантском небесном прессе, который с одинаковой мощностью раздавит живое и неживое, уродливое и прекрасное, обрушит на город невообразимые ужасы, несчастья и трагедии. Временами нестерпимое сияние весеннего неба представлялось мне сверканием лезвия огромного топора, занесенного над землей. И я не мог дожидаться, пока этот топор опустится – с такой стремительной быстротой, что ни о чем и подумать не успеешь.

Мне и сейчас это кажется странным. Ведь по природе своей я не был склонен к горьким помыслам. Меня волновал, не давая покоя, только один вопрос: что есть Прекрасное? Я не думаю, что в том мрачном направлении, которое приняли мои мысли, повинна война. Видимо, это неизбежно: человек, думающий только о Прекрасном, не может не погрузиться в бездну горчайших раздумий. Так уж, очевидно, устроен человек.

Я вспоминаю некое происшествие, свидетелем которого я стал в Киото незадолго до конца войны. Происшествие это настолько невероятно, что в него трудно поверить. Но я был не один – Цурукава тоже все видел.

⁹ 1467–1477 гг.

В один из дней – помню, тогда еще отключили электричество – мы вдвоем отправились в храм Нандзэндзи, где прежде нам бывать не приходилось. По дороге нам взбрело в голову пересечь широкую улицу и подняться на деревянный мостик, который вел к лодочной станции.

Стоял ясный майский день. Станция давно не работала, рельсы скатов, по которым когда-то спускали на воду лодки, проржавели и заросли травой. Какие-то белые крестообразные цветы покачивались на ветру. Рельсы уходили в мутную, грязную воду, в которой застыло отражение росших на берегу вишневых деревьев.

Мы стояли, облокотившись на перила мостика, и рассеянно глядели на воду. Среди всех воспоминаний военной поры в памяти почему-то остались такие вот бездумные мгновения. Многого забылось, а редкие минуты отдыха запомнились – так бросаются в глаза синие просветы в затянутом тучами небе. Даже странно, что память столь бережно хранит подобную мелочь, словно миг наивысшего счастья.

– Хорошо тут, правда? – вздохнул я, отрешенно улыбнувшись.

– Ага, – улыбнулся в ответ Цурукава и посмотрел на меня.

Мы оба очень остро чувствовали, что эти несколько часов принадлежат нам, и только нам.

Вдоль широкой, посыпанной гравием дорожки тянулся ров с чистой, прозрачной водой, в которой плавали красивые водяные цветы. Вскоре мы вышли к знаменитому храму Нандзэндзи.

Вблизи не было ни души. Среди свежей зелени листья черепица крыши казалась сверкающей обложкой огромной серебристой книги, раскрытой над храмом. Какое отношение ко всему этому могла иметь война? Бывают места, где в иную минуту кажется, что война – не более чем нелепое состояние духа, существующее лишь в человеческом воображении.

Говорят, знаменитый разбойник древности Гоэмон Исикава частенько любовался с высоты красотой цветущей природы, – наверное, он сидел здесь, на крыше храма, закинув ноги на парапет. Нами овладело ребячливое настроение, и мы решили последовать примеру Гоэмона, хотя сакура уже успела отцвести. Заплатив за вход какие-то гроши, мы стали карабкаться по деревянной лестнице, крутой и почерневшей от времени. Наверху Цурукава стукнулся головой о низкий потолок. Я засмеялся – и тут же ударился сам. Лестница сделала еще один поворот, и мы оказались на крыше.

Как это было чудесно – из тесной дыры лестницы вдруг оказаться среди бескрайнего простора. Нашему взору открылся вид на вишневые и сосновые рощи, на крыши домов, на притаившийся за деревьями храм Хэйан, на окружавшие Киото горы – Арасияма, Китаноката, Кибунэ, Миноура, Компира. Насладившись пейзажем, мы сняли обувь и благоговейно, как и подобало послушникам, вошли внутрь храма. В центре темного зала, пол которого был устлан двадцатью четырем татами¹⁰, возвышалось изваяние Шакья-Муни¹¹, поблескивали в полумраке золоченые глаза статуи шестнадцати архангов. Зал этот именовался Гохоро – «Башня Пяти Фениксов».

Храм Нандзэндзи принадлежал к тому же направлению Риндзай секты Дзэн, что и наш Кинкакудзи, но мы относились к школе Сококудзи, а здесь находился оплот школы Нандзэндзи, то есть мы оказались на территории, принадлежавшей неполным нашим единоверцам. Но мы с Цурукавой не стали ломать над этим голову, а просто, как обычные гимназисты, принялись с путеводителем в руках разглядывать яркую роспись потолка, принадлежавшую, по преданию, кисти Моринобу Таню, мастера школы Кано, и Токуэцу Хогэн, мастера школы Тоса. С одной стороны были изображены летающие ангелы с флейтами и бива¹² в руках. Чуть поодаль

¹⁰ Соломенный мат стандартного размера.

¹¹ Буддийский святой, достигший высшей степени совершенства.

¹² Четырехструнный музыкальный инструмент.

порхала с белоснежным пионом в клюве сладкоголосая обитательница далекой горы Сэссэн – Калавинка, с торсом полногрудой девушки и ногами птицы. А в самой середине потолка красовался феникс, собрат того, что парил над Золотым Храмом, но как же мало походила эта расцвеченная всеми цветами радуги птица на своего строгого золотистого соплеменника!

Перед статуей Шакья-Муни мы опустились на колени, молитвенно сложив ладони. Потом вышли из зала, но спускаться вниз не хотелось, и мы еще постояли возле лестницы, опираясь на южную балюстраду крыши.

У меня перед глазами словно кружилось подобие некоего разноцветного вихря – наверное, из-за пестрых красок, которыми был расцвечен потолок в храме. Ощущение густоты и богатства цвета было таким, словно где-то внизу, в зеленой листве, пряталась сказочная Калавинка, озаряя все вокруг сиянием своих великолепных крыльев.

Но нет, я ошибался. Прямо над нами, отделенный лишь узкой дорожкой, стоял храм Тэндзю. По незатейливому саду меж невысоких безмятежных деревцов петляла тропинка, обозначенная цепочкой квадратных каменных плит, которые едва касались углами одна другой; тропинка вела к веранде с широко раздвинутыми сёдзи¹³. Комната просматривалась насквозь – были видны даже двойные полочки в токонома¹⁴. Пол устлали яркие ковры, – судя по всему, помещение сдавалось внаем для проведения чайных церемоний. В комнате сидела молодая женщина, она-то и привлекла мой взор. Еще бы, разве можно было увидеть в военные годы такое роскошное кимоно! Любую женщину, позволившую себе выйти на улицу в столь неуместном одеянии, прохожие застыдили бы за отсутствие патриотизма и заставили бы пойти домой переодеться.

Кимоно было воистину ослепительно. Я не мог разглядеть мелких деталей, но хорошо видел цветы, то ли нарисованные, то ли вытканые на бледно-голубой ткани, и пунцовый пояс, прошитый золотой ниткой; казалось, женщина окружена сиянием. Она сидела в такой изящной позе, и ее белый профиль был настолько неподвижным, словно точеным, что я поначалу усомнился, да живая ли она. Отчаянно заикаясь, я спросил:

– Слушай, она настоящая?!

– Ага. Прямо как кукла, правда? – ответил Цурукава, наваливаясь грудью на перила и не сводя с женщины глаз.

В этот миг в комнату откуда-то сбоку вошел молодой офицер. Он церемонно уселся на пол в нескольких шагах перед женщиной, и некоторое время оба не двигались.

Потом женщина встала и бесшумно исчезла в темноте коридора. Некоторое время спустя она вернулась с чайной чашкой в руках, длинные рукава ее кимоно слегка колыхались, колеблемые ветерком. Женщина предложила чашку офицеру. Потом, согласно ритуалу, села на прежнее место. Мужчина что-то произнес. Чай он даже не пригубил. Время странным образом словно остановилось, и непонятное напряжение охватило меня. Женщина низко склонила голову.

Тут и произошло то самое невероятное. Женщина медленно, не меняя позы, раскрыла ворот кимоно. Мне показалось, что я слышу, как шуршит шелк, вытягиваемый из-под тугого пояса. Обнажились белые груди – я судорожно вздохнул. Женщина обхватила одну из своих грудей пальцами. Тогда офицер опустился перед ней на колени и протянул вперед чашку – темного, густого цвета. Женщина слегка сжала грудь обеими руками.

Нет, я, конечно, не мог всего видеть, но мне отчетливо представилось, как в пенистый напиток брызнуло горячее молоко, как растворялись в зеленоватой жидкости белые капли, как замутилась и забурлила мирная поверхность чая.

¹³ Раздвижные перегородки в японском доме.

¹⁴ Стенная ниша с приподнятым полом.

Мужчина поднял чашку и выпил этот странный чай до дна. Женщина спрятала свою белую грудь в кимоно.

Остолбнев, наблюдали мы с Цурукавой эту сцену. Позднее, пытаясь найти увиденному какое-то объяснение, мы решили, что нам довелось быть свидетелями прощания отъезжающего на фронт офицера с женщиной, родившей от него ребенка. Однако в тот миг рассудок отказался бы принять любое логическое рассуждение. Потрясенный, я даже не сразу заметил, что комната опустела, – лишь пестрели ярким пятном ковры на полу.

Перед моими глазами все стояли точеный профиль и несравненная белая грудь. После того как женщина исчезла, весь остаток дня, и на завтра, и послезавтра мне не давала покоя одна мысль: несомненно, то явилась мне возрожденная к жизни Уико.

Глава третья

Исполнился год со дня смерти отца, и моей матери пришла в голову странная идея. Поскольку я отбывал трудовую повинность и не мог навестить родительский дом, она решила сама приехать в Киото и привезти с собой табличку с посмертным именем отца, чтобы преподобный Досэн Таяма в память об умершем друге почитал над ней сутры – пусть хоть несколько минут. Денег заплатить за поминальную службу у матери, конечно, не было, и она изложила свою просьбу в письме к настоятелю, всецело уповая на его великодушие. Святой отец дал согласие и известил меня о своем решении.

Новость не доставила мне особой радости. Я не случайно до сих пор избегал рассказывать о матери, мне не хотелось касаться этой темы.

Я ни словом не упрекнул мать после той памятной ночи. Ни единым взглядом. Может быть, ей так и осталось невдомек, что я все видел. Но в сердце своем я ее не простил.

Это случилось во время моих первых каникул, когда, отучившись год в гимназии, я вернулся на лето в отчий дом. У нас тогда гостил дальний родственник матери, некий Кураи, который приехал в Нариу из Осаки, потерпев крах в каких-то коммерческих делах. Его жена, происходившая из богатой семьи, отказалась пустить незадачливого мужа в дом, и пришлось ему, пока улягутся страсти, попросить убежища под кровом моего отца.

У нас в храме имелась одна-единственная москитная сетка, и все мы – отец, мать и я – вынуждены были спать вместе (как только не заразились мы от отца туберкулезом, не знаю), а тут еще под сеткой стал ночевать и Кураи. Помню, как в ту ночь пронзительно трещали цикады во дворе. Они-то меня, наверное, и разбудили. Раскатисто шумел прибой, полог светло-зеленой москитной сетки слегка колыхался на ветру. Однако было в этом шевелении нечто необычное.

Сетку раздувало легким бризом, потом она, словно фильтруя поток воздуха, опускалась. Таким образом, ее складки не передавали колебаний ветра; наоборот, казалось, что сетка лишает бриз силы, останавливает его. Слышался тихий шелест, будто шумели листья бамбука, – это края сетки скользили по татами. Но движение их явно не совпадало с дуновениями ветра. Сетка колыхалась совсем иначе, шла мелкими волнами; грубая ткань судорожно дергалась, и казалось, что это беспокойная поверхность озера. То ли гладь рассек форштевень далекого судна, то ли это был след за кормой...

Я боязливо перевел взгляд к источнику движения. Вгляделся в темноту – и невидимые иглы впились в мои широко раскрытые глаза.

Я лежал рядом с отцом и, очевидно ворочаясь во сне, совсем задвинул его в угол. Поэтому между мной и тем, что я увидел, белела пустая, измятая простыня, а в затылок мне дышал свернувшийся калачиком отец.

Я вдруг понял, что он тоже не спит, – слишком неровным было это дыхание, отец пытался подавить приступ кашля. И тут мои глаза – а было мне в ту пору всего тринадцать лет – закрыло что-то большое и теплое. И я ослеп. То протянулись сзади ладони отца и легли мне на лицо.

Я и сейчас явственно ощущаю прикосновение отцовских рук. Какими невероятно огромными были эти ладони. Они возникли откуда-то сзади и прикрыли мои глаза, смотревшие в самый ад. Руки из другого мира. Не знаю, что это было – любовь, сострадание или стыд, но ладони в один миг уничтожили зрелище открывшегося мне кошмарного мира и похоронили его во тьме. Спрятанный за этой преградой, я слегка кивнул головой. Отец сразу понял по этому движению, что я исполню его волю, и убрал руки. И, послушный приказу отцовских ладоней, я всю бессонную ночь, до самого утра, пока в комнату не проник снаружи яркий солнечный свет, пролежал с крепко зажмуренными глазами.

Помните – несколько лет спустя, стоя над гробом отца, я так был поглощен *созерцанием* его мертвого лица, что не уронил ни единой слезинки? Со смертью отца гнет тех ладоней отпустил меня, и я, глядя на угасшие черты, уверялся в том, что я-то жив, помните? Я не упустил случая сполна отомстить отцовским рукам – тому, что еще зовут любовью, – но матери я никогда отомстить не пытался, хотя и простить ей ту ночь тоже не мог...

Мать должна была приехать в Киото за день до годовщины и провести ночь накануне в храме. Отец настоятель написал в школу записку, что один день меня не будет. В тот вечер, когда должна была приехать мать, я возвращался с завода в храм Рокуондзи с тяжелым сердцем.

Бесхитростный и открытый Цурукава радовался за меня, что после долгой разлуки я наконец увижусь с матерью; остальным послушникам просто было любопытно на нее посмотреть. У меня же она – жалкая, бедно одетая – не вызывала ничего, кроме отвращения. Но как я мог объяснить добросердечному Цурукаве, что не желаю встречаться с собственной матерью? Едва закончился рабочий день, как он схватил меня за руку и взволнованно крикнул:

– Ну, бежим скорей!

Впрочем, нельзя сказать, чтобы мне совсем не хотелось взглянуть на мать. Пожалуй, я все-таки по ней соскучился. Просто мне были неприятны те излияния нежных чувств, без которых не умеют обходиться родители, вот я и искал оправдание своей бесчувственности. Таков уж мой дурной характер. Ничего еще, если я пытался обосновать свои подлинные чувства, но иногда случалось, что придуманные мной самим причины мне же и навязывали совершенно неожиданные эмоции, чуждые моей натуре изначально.

Из всех моих чувств только ненависть была неподдельной, ибо кто заслуживал ненависти более меня самого?

– Зачем бежать? – ответил я. – Устанем только. Давай пойдем не спеша.

– А, понял. Ты хочешь, чтобы мама увидела, как ты устаешь на работе, и пожалела тебя.

О, вечно ошибающийся интерпретатор моих побуждений! Но он вовсе не раздражал меня, более того, он стал мне необходим. Цурукава был моим незаменимым другом, благосклонным толмачом, переводившим мои мысли на язык окружающего мира.

Да-да, временами Цурукава представлялся мне алхимиком, способным превратить свинец в чистое золото. Если я был негативом жизни, он был ее позитивом. Сколько раз с восхищением я наблюдал, как мои грязные, замутненные чувства, пройдя сквозь фильтр его души, выходили наружу чистыми и сияющими! Пока я пытался и заикался, он брал мои мысли, выворачивал их наизнанку и являл в таком виде миру. Благодаря поразительному этому превращению я постиг одну вещь: нет различия меж чувством благороднейшим и наиподлейшим, эффект их один и тот же, и даже желание убить неотличимо от глубочайшего сострадания. Цурукава не поверил бы, даже если б я сумел ему все растолковать, но мне эта мысль явилась пугающим откровением. С помощью Цурукавы я перестал бояться лицемерия – оно теперь представлялось мне грехом незначительным.

В Киото я так ни разу и не попал под бомбежку, но однажды, когда меня отправили с накладными на какие-то авиадетали в Осаку, на наш центральный завод, я угодил под воздушный налет и видел, как несут на носилках рабочего с развороченным осколками животом.

Почему вид обнаженных человеческих внутренностей считается таким уж ужасным? Почему, увидев изнанку нашего тела, мы в ужасе закрываем глаза? Почему человека потрясает зрелище льющейся крови? Чем это так отвратительно внутреннее наше устройство? Разве не одной оно природы с глянцевой юной кожей?.. Интересно, какую рожу скорчил бы Цурукава, скажи я ему, что это он научил меня образу мыслей, позволяющему сводить мое уродство к нулю? Что же бесчеловечного в уподоблении нашего тела розе, которая одинаково прекрасна как снаружи, так и изнутри? Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тела наизнанку – грациозно, словно переворачивая лепесток розы, – и подставить их сиянию солнца и дыханию майского ветерка...

Мать уже приехала и беседовала с отцом настоятелем у него в кабинете. Мы с Цурукавой опустились на колени за дверью, в коридоре, освещенном сиянием раннего лета, и подали голос, извещая о нашем прибытии.

Святой отец позвал в кабинет одного меня и стал говорить матери какие-то похвалы в мой адрес. Я стоял, опустив глаза, и на мать почти не смотрел. В поле моего зрения находились лишь блеклые, застиранные шаровары и грязные руки, лежавшие на коленях.

Настоятель позволил нам с матерью уединиться. После многократных поклонов мы удалились. Моя келья, маленькая комнатка в пять татами величиной, находилась на юг от Малой библиотеки и выходила окном во двор. Как только мы остались вдвоем, мать ударилась в слезы. Я был к этому готов и сумел сохранить полное хладнокровие.

– Я теперь принадлежу храму, – сказал я, – и прошу, пока не закончится срок послушничества, меня не навещать.

– Хорошо, хорошо, я понимаю...

Мне доставляло удовольствие бросать матери в лицо жестокие слова. Раздражало только, что она, как всегда, не пыталась ни спорить, ни возражать. Хотя от одной мысли, что мать может переступить запретную черту и вторгнуться в мой внутренний мир, меня охватывал ужас.

На загорелом лице матери хитро поблескивали маленькие, глубоко спрятанные глазки. Губы, ярко-красные и блестящие, жили на этом лице своей жизнью, а за ними белели крупные крепкие зубы деревенской женщины. Она находилась еще в том возрасте, когда горожанки вовсю пользуются косметикой. Мать же, казалось, нарочно старалась выглядеть поуродливее. Но таилось в ее лице и что-то сдобное, плотское – я остро это почувствовал и содрогнулся от отвращения.

Поплакав сколько положено, мать спокойно вытащила казенного вида полотенце из синтетики и стала вытирать потную загорелую грудь. Грубая блестящая ткань, пропитавшись потом, еще больше заиграла переливчатым светом.

Затем мать достала из рюкзака сверток с рисом. «Для Учителя», – пояснила она. Я промолчал. Напоследок мать вытащила посмертную отцовскую табличку, замотанную в старую тряпку мышиного цвета, и пристроила ее на моей книжной полке.

– Надо же, как все удачно. Вот почитает завтра преподобный Досэн сутры, и папочкина душа возрадуется.

– Ты после службы возвращаешься в Нариу? – спросил я.

Ответ матери был неожиданным. Оказывается, она передала приход другому священнику и продала наш маленький участок земли. Ей пришлось расплатиться с долгами за лечение отца, и теперь она собиралась поселиться недалеко от Киото, в доме своего дяди.

Стало быть, храма, в который я должен вернуться, уже не существует! И никто теперь не встретит меня, появившись я вновь на том забытом богом мысе.

Не знаю, как расценила мать выражение облегчения, отразившееся на моем лице, но она наклонилась к самому моему уху и прошептала:

– Понимаешь? Больше у тебя нет своего храма. Теперь тебе ничего не остается, как стать настоятелем Кинкакудзи. Может быть, преподобный Досэн полюбит тебя и сделает своим приемником. Ты понял? Твоя мамочка будет жить одной этой надеждой.

Я ошеломленно уставился на мать. Но тут же отвел глаза в смятении.

В келье было уже темно. Из-за того, что «мамочка» так близко придвинулась ко мне, в нос дохнуло ее потом. Вдруг она тихонько рассмеялась – я очень хорошо это помню. Смутные воспоминания далекого детства охватили меня: я – младенец и сосу смуглую материнскую грудь. Стало неприятно. Прядь вьющихся волос коснулась моей щеки, и в этот миг я увидел в полутемном дворе стрекозу, она присела передохнуть на поросший зеленым мхом каменный

таз для умывания. В круглом зеркальце воды лежало вечернее небо. Кругом – тишина, храм Рокуондзи будто вымер.

Наконец я смог взглянуть матери прямо в глаза. Она широко улыбалась – за гладкими губами блеснул золотой зуб.

– Так-то оно так, – ответил я, жестоко заикаясь, – но меня могут призвать в армию... Меня могут убить...

– Ерунда. Если уж таких жалких заик станут призывать, значит Япония совсем до ручки дошла.

Я весь сжался и посмотрел на нее с ненавистью. Но заикающееся мое лепетание звучало уклончиво:

– Да и Кинкаудзи могут разбомбить...

– Непохоже, что Киото вообще будут бомбить. Американцы, сдаётся мне, решили оставить город в покое.

Я не ответил. Сгустившиеся сумерки делали двор похожим на дно моря. Камни сопротивлялись, сопротивлялись, но постепенно утонули в тени.

Не обращая внимания на мое упрямое молчание, мать встала и принялась бесцеремонно разглядывать дощатые стены моей кельи.

– Ужинать-то еще не пора? – спросила она.

Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что та встреча с матерью оказала немалое влияние на ход моих мыслей. Именно тогда я понял, что мы с ней существуем в совершенно разных мирах, и тогда же я почувствовал на себе действие ее слов.

Мать принадлежала к той человеческой породе, которой нет дела до красоты Золотого Храма, но зато она обладала чувством реальности, совершенно мне недоступным. Она сказала, что Храму не грозит опасность бомбежки, и, несмотря на все свои мечтания, я понимал: она, видимо, права. Но если Храму не угрожала смертельная опасность, утрачивался самый смысл моей жизни, рассыпался на куски весь созданный мною мир.

К тому же, должен признаться, честолюбивые замыслы матери не оставили меня равнодушным, хотя я и ненавидел их всеми силами души. Отец никогда не говорил со мной на эту тему, но вполне возможно, что втайне он вынашивал те же планы и именно из-за них пристроил меня в Храм. Преподобный Досэн Таяма был холост. Если учесть, что он и сам стал настоятелем Рокуондзи по рекомендации своего предшественника, то почему бы и мне не добиться того же? Ведь тогда Золотой Храм будет принадлежать мне!

Душа моя пребывала в смятении. Когда новая мечта слишком уж тяжким грузом ложилась мне на сердце, я возвращался к старой – о том, что Кинкаудзи будет сожжен; если же эта картина распадалась, не выдерживая трезвого практицизма материнских суждений, я вновь предавался честолюбивым помыслам. Я домечтался до того, что сзади на шее у меня образовалась огромная багровая опухоль.

Я с ней ничего не делал. Опухоль развилась, окрепла и стала давить мне на шею сзади с тяжелой и жаркой силой. Ночами, когда мне удавалось ненадолго уснуть, я видел сон, будто у меня на затылке родилось чистейшее золотое сияние и медленно разливается, окружая мою голову светящимся нимбом. Когда же я просыпался, ничего не было, кроме боли от зловещей шишки.

В конце концов я слег в горячке. Отец настоятель отвел меня к врачу. Хирург, одетый в обычный гражданский китель, с обмотками на ногах, назвал мою опухоль банальным словом «фурункул». Экономя спирт, врач накалил на огне свой скальпель и сделал надрез. Я взвыл, чувствуя, как горячий, мучительный мир взрывается под моим затылком, сжимается и умирает...

* * *

Война кончилась. Слушая в цехе, как зачитывают по радио императорский указ о прекращении боевых действий, я думал только о Золотом Храме.

Едва вернувшись с работы, я, конечно же, поспешил к Кинкакудзи. Щебень, которым была покрыта дорожка, ведущая к Храму, раскалился на солнце, и мелкие камешки то и дело прилипали к грубым резиновым подошвам моих спортивных туфель.

В Токио, услышав о конце войны, толпы людей с рыданиями устремились к императорскому дворцу; у нас, в Киото, было то же самое, хотя киотоский дворец давно пустовал. Впрочем, в древней столице хватает буддийских и синтоистских храмов, куда можно сходить поплакать по такому случаю. Я полагаю, в этот день повсюду было полно народу. Только в мой Храм, кроме меня, никто не пришел.

По пышущей жаром щебенке скользила лишь моя собственная тень. Я стоял с одной стороны, Золотой Храм возвышался напротив. Мне достаточно было раз взглянуть на него, чтобы понять, насколько изменились наши отношения.

Храм был неизмеримо выше военного краха и трагедии нации. Или делал вид? Еще вчера Кинкакудзи был другим. Ну конечно, избежав угрозы гибели под бомбами, Храм вновь обрел прежний облик, словно говоривший: «Я стоял здесь всегда и пребуду здесь вечно».

Дряхлая позолота внутренних стен, надежно покрытая лаком солнечного сияния, лившегося на Храм снаружи, ничуть не пострадала, и Кинкакудзи напомнил мне какой-то старинный предмет мебели, дорогостоящий, но абсолютно бесполезный. Огромную пустую этажерку, выставленную кем-то на лужайке перед пылающим зеленым лесом. Что можно поставить на полки такой этажерки? Какую-нибудь невероятных размеров курильницу для благовоний или невероятных размеров пустоту. Но Храм аккуратнейшим образом избавился от всех нош, смыл с себя самую свою суть и стоял теперь передо мной до странности пустой. Еще более странным было то, что таким прекрасным, как сегодня, я не видел Храм никогда. Никогда еще он не являлся мне в столь незыблемом великолепии, несказанно превосходившем и мое воображение, и реальность окружающего мира; в его сегодняшней красоте не было ничего брэнного, преходящего. Так ослепительно Золотой Храм сиял впервые, отвергая все и всяческие резоны!

У меня задрожали колени – я не преувеличиваю, – а на лбу выступил холодный пот. Если после первой встречи с Храмом, вернувшись в свою деревню, я представлял себе отдельные детали и общий облик Кинкакудзи как бы соединенными некоей музыкальной гармонией, то теперь это сравнение было неуместно: я слышал лишь полную тишину и абсолютное беззвучие. Ничто здесь не текло и ничего не менялось. Золотой Храм навис надо мной звенящим безмолвием, пугающей паузой в гармонии звуков.

«Наша связь оборвалась, – подумал я. – В прах рассыпалась иллюзия, будто мы живем с ним в одном мире. Все будет как прежде, только еще безнадежнее. Я – здесь, а Прекрасное – где-то там. И так будет теперь всегда, до скончания века...»

Поражение в войне означало для меня погружение в пучину отчаяния – по одной-единственной причине. Я и поныне как наяву вижу нестерпимо яркое солнце 15 августа сорок пятого года. Говорят, в тот день рухнули все ценности; для меня же, наоборот, возродилась вечность, воспрянула к жизни и утвердилась в своих правах. Вечность сказала мне, что Золотой Храм будет существовать всегда.

Вечность сочилась с небес, обволакивая наши лица, руки, грудь, погребая нас под своей тяжестью. Будь она проклята!.. Да-да, в день, когда кончилась война, даже в треске горных цикад я слышал проклятый голос вечности. Она словно залепила всего меня густой золотистой штукатуркой.

В тот вечер перед отходом ко сну мы долго читали сутры, молясь за здоровье императора и за упокой душ погибших на войне. Все военные годы священникам различных сект и религий предписывалось проводить службы в обычных одеяниях, но сегодня Учитель обрядился в алую рясу, которая столько лет пролежала без применения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.